

К. С. ЛЬЮИС

НАСТИГНУТ РАДОСТЬЮ

ДУХОВНАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

ОТ РЕДАКТОРА

Русский перевод «Настигнут Радостью», выполненный Любовью Борисовной Сумм, воспроизводится по изданию: *Льюис К.С.* Пока мы лиц не обрели. – СПб.: Библиополис, 2007. – С. 391-563. Текст был сверен с английским оригиналом и, по возможности, воспроизводит его порядок и структуру. Опечатки исправлялись безоговорочно, ошибки и пропуски отмечены в постраничных сносках («прим. ред.»). Все прочие сноски в тексте принадлежат автору.

П. Б.

К. С. ЛЬЮИС

НАСТИГНУТ РАДОСТЬЮ

ОЧЕРК НА ЧАЛА МОЕЙ ЖИЗНИ

Настигнут радостью – нетерпелив как ветер.
Уильям Уортсворт

Дому Беде Гриффитсу, О.С.Б.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Эта книга написана отчасти для того, чтобы поведать о том, как я пришел от атеизма к христианству, отчасти же для того, чтобы исправить некоторые неверные представления. Окажется ли она столь же важной для читателя, как для меня самого, зависит от того, приобщен ли он к тому, что я назвал «Радостью». Если это чувство кто-то и знал, рассказать о нем все-таки нужно, и я отваживаюсь писать о нем, поскольку не раз убеждался, что стоит человеку упомянуть о самых сокровенных и любимых переживаниях, как непременно найдется хотя бы один слушатель, который откликнется: «Как! Неужели и вы тоже?.. Я-то думал, я один такой».

Сейчас я хочу рассказать историю своего обращения; это не автобиография и уж ни в коем случае не «Исповедь», как у Августина, тем более – Руссо. Чем дальше продвигается повествование, тем очевиднее оно расходится с «нормальной» автобиографией: в первых главах приходится расстилать сеть как можно шире, чтобы к тому моменту, когда наступит духовный кризис, читатель уже знал, каким меня сделал опыт детства и отрочества. Завершив строительство фундамента, я перехожу к самой теме, выпуская все факты (важные для обычной биографии), которые не связаны с развитием личности. Невелика потеря, в любой известной мне автобиографии интереснее всего главы, посвященные первым годам жизни.

Боюсь, что мой рассказ выйдет удручающе личным; ничего подобного я прежде не писал и, скорее всего, не стану писать и впредь. Я постарался написать уже первую главу так, чтобы читатели, которым подобное чтение противопоказано, поняли сразу, во что их втягивают, закрыли книгу и не тратили время понапрасну.

К. С. Л.

I. ПЕРВЫЕ ГОДЫ

Я счастлив, но не очень защищен.

Джон Мильтон

Я родился зимой 1898 в Белфасте, отец мой был юристом, мать – дочерью священника. У моих родителей было только двое детей (оба – мальчики), причем я почти на три года младше брата. В нас соединились два очень разных рода. Мой отец первым в своей семье получил высшее образование: его дед был фермером в Уэльсе; его отец, самоучка, в молодости работал на заводе, потом эмигрировал в Ирландию и к концу жизни стал совладельцем фирмы «Макилвейн и Льюис. Изготовление паровых котлов и строительство пароходов». Моя мать, урожденная Гамильтон, принадлежала к роду священников, юристов и морских офицеров; ее предки со стороны матери, Уоррены, гордились происхождением от нормандского рыцаря, погребенного в Баттлском аббатстве.

Столь же разными, как и происхождение, были и характеры моих родителей. Родня отца – подлинные валлийцы, сентиментальные, страстные, склонные к риторике, легко поддающиеся гневу, и любви, они много смеялись, много плакали и совсем не умели быть счастливыми. Гамильтоны – более сдержанная порода, они ироничны, проницательны и в высшей степени одарены способностью к счастью; они направляются к нему прямиком, как опытный путешественник – к лучшему месту в вагоне. С ранних лет я чувствовал огромную разницу между веселой и ровной лаской мамы и вечными приливами и отливами в настроениях отца. Пожалуй, прежде чем я сумел подобрать этому определение, во мне уже закрепилось некое недоверие, даже неприязнь к эмоциям – я видел, как они неуютны, тревожны и небезопасны.

По тем временам мои родители считались людьми «умными», начитанными. Мама получила степень бакалавра в Королевском Колледже (Белфаст), была очень способна к математике и незадолго до смерти сама начала обучать меня французскому и латыни. Она с жадностью набрасывалась на хорошие романы, и я думаю, что доставшиеся мне в наследство тома Толстого и Мередита купила именно она.

Вкусы отца заметно отличались от маминых: он увлекался риторикой и в молодости выступал в Англии с политическими речами; будь он «джентльменом с независимыми средствами», он бы, несомненно, избрал политическую карьеру. Если б не донкихотское чувство чести, он бы, пожалуй, мог преуспеть в парламенте, поскольку обладал многими из требовавшихся тогда качеств – внушительной внешностью, звучным голосом, подвижным умом, красноречием и отличной памятью. Отец любил политические романы Троллопа – как я теперь догадываюсь, прослеживая карьеру Финеаса Финна, он тешил собственные желания и мечты. Он увлекался поэзией, риторической и патетической – из всех пьес Шекспира он предпочитал «Отелло». Ему нравились почти все юмористы, от Диккенса и до Джейкобса, и сам он был непревзойденным рассказчиком, одним из тех рассказчиков, которые поочередно перевоплощаются во всех своих персонажей. Как он радовался, когда ему выпадало посидеть часок-другой с братьями, обмениваясь «байками» (так в нашей семье почему-то называли анекдоты).

Ни отец, ни мама не любили тех книг, которые я предпочитал с того самого момента, как научился выбирать их сам. Их слуха не коснулся зов волшебного рога. В доме не водилось стихов Китса или Шелли, томик Колриджа, насколько мне известно, никто не раскрывал, так что родители не несут ответственности за то, что я вырос романтиком. Правда, отец прочитал Теннисона, но как автора «In Memoriam» и «Локсли холла»; я не услышал из его уст ни строчки из «Лотофагов» или «Смерти Артура». А мама, как мне говорили, и вовсе не любила стихи.

У меня были добрые родители, вкусная еда, садик, где я играл (он казался мне огромным); было и еще два сокровища. Первое – это няня, Лиззи Эндикотт, в которой даже взыскательная детская память не обнаружит ничего, кроме доброты, веселья и здравомыслия. Тогда еще не додумались до «ученых бонн», и благодаря Лиззи мы проросли корнями в крестьянство графства Даун и мир для нас не разделился на социальные слои. Благодаря все ей же я на всю жизнь избавлен от распространенного предрассудка – отождествления манер и сущности. С младенчества я твердо знал, что есть шутки, которыми можно поделиться с Лиззи, но которые совершенно неуместны в гостиной; и столь же твердо я знал, что Лиззи – очень хорошая.

Вторым подарком судьбы я назову брата. Он был тремя годами старше, но никогда не вел себя как «большой», мы рано сделались товарищами,

даже союзниками, хотя похожи не были. Это заметно и по нашим первым рисункам (не помню времени, когда мы не рисовали). Из-под кисти брата выходили поезда, корабли и сражения, я же (если только не брался ему подражать) создавал то, что мы называли «одетыми зверюшками», то есть членокообразных животных. Брат рано перешел от рисования к сочинительству; его первое произведение называлось «Юный раджа». Так он присвоил себе Индию, а моим уделом стала сказочная страна Зверюшек. От первых шести лет моей жизни, о которых я веду рассказ, рисунков не сохранилось, но я сберег множество картинок, нарисованных ненамного позже. Мне кажется, они подтверждают, что здесь я был способнее брата: я рано научился изображать движение – фигурки действительно бегали и сражались, и с перспективой у меня все было в порядке. Но ни у меня, ни у брата не найдется ни единого рисунка, ни единой черты, вдохновленной порывом к красоте, сколь угодно примитивной. Здесь есть юмор, движение, изобретательность, но нет потребности в форме и строе. И к природе мы равнодушны до слепоты. Деревья торчат, точно клоки шерсти, насаженные на спицы, – можно подумать, мы не видели листьев в том самом саду, где проводили каждый день. Теперь я понимаю, что «чувство прекрасного» вообще обошло стороной наше детство. На стенах нашего дома висели картины, но ни одна из них нас не привлекала и, по совести говоря, ни одна того не заслуживала. В окрестностях не было красивых домов, и мы не подозревали, что дом может быть красивым.

Мои первые эстетические впечатления нельзя назвать эстетическими в точном смысле слова, поскольку они не были связаны с восприятием формы и с самого начала страдали неизлечимым романтизмом. Однажды, на заре времен, брат принес в детскую крышку от жестянки из-под печенья, которую он выложил мхом и разукрасил ветками и цветами, превратив то ли в игрушечный садик, то ли в лес. Так я впервые встретился с красотой. Настоящий сад не давал мне того, что дал игрушечный. Только тогда я почувствовал природу – не склад красок и форм, но прохладную, свежую, влажную, изобильную Природу. Вряд ли я понял все это сразу, но в воспоминаниях этот садик стал бесконечно важным, и, пока я живу, даже рай представляется мне похожим на игрушечный сад брата.

Еще мы любили «зеленые горы», то есть приземистую линию холмов Каслри, которую видели из окна детской. Они были не так уж далеко, но для ребенка казались недостижимыми, и, глядя на них, я испытывал тот порыв, то стремление вдаль (*Sehnsucht*), которое, к добру или худу,

превратило меня в рыцаря Голубого Цветка прежде, чем мне сравнялось шесть лет.

Эстетических впечатлений было мало, а религиозных не было вовсе. Кое-кто из моих читателей решил, что меня воспитали строгие пуритане, – ничего подобного! Меня учили самым обычным вещам, в том числе – повседневным молитвам, и в урочное время водили в церковь. Я воспринимал все это покорно и без малейшего интереса. Моего отца отнюдь нельзя считать образцовым пуританином; более того, с точки зрения Ирландии девятнадцатого века он принадлежал скорее к «высокой церкви». Его отношения с религией, как и с поэзией, полностью противоречат тем отношениям, которые со временем сложились у меня. Отец с наслаждением питывал обаяние традиции, древнего языка Библии и молитвенника; у меня этот вкус развился гораздо позднее и с трудом. Зато мало нашлось бы равных отцу по уму и образованию людей, которых столь же мало волновала бы метафизика. Не знаю, во что верила мама.

Мое детство никак не отмечено духовным опытом, в нем не было даже пищи для воображения, кроме игрушечного садика и Зеленых холмов. В моей памяти ранние годы сохранились как пора бытового, заурядного, прозаического счастья, они не пронзают меня мучительной ностальгией, с какой я вспоминаю куда менее благополучное отчество. Тоскую я не о надежном счастье, а о внезапных мгновениях радости.

В том детском блаженстве был лишь один темный уголок. С младенчества меня мучили страшные сны. Это часто бывает с детьми, и все же странно, что в детстве, когда тебя лелеют и оберегают, может открыться окошечко в ад. Я различал два вида кошмаров – с призраками и с насекомыми. Особенно пугали насекомые, в те годы я предпочел бы повстречать привидение, чем паука. Даже сегодня этот страх кажется мне вполне естественным и оправданным. Оуэн Барфилд как-то сказал мне: «Насекомые так противны оттого, что у них весь механизм снаружи, словно у локомотива». Да, дело именно в механизме. Эти угловатые сочленения, дерганый шаг, скрипучий металлический скрежет похожи на оживящую машину или, хуже того, на жизнь, выродившуюся в механизм. К тому же муравейник и пчелиный рой воплощают те два состояния, которых больше всего страшится человечество – власть коллектива и власть женщин. Стоит отметить один случай, связанный с этой фобией. Много лет спустя, уже подростком, я прочел книгу Луббока «Пчелы, осы и муравьи» и на какое-то время всерьез, по-научному заинтересовался

насекомыми. Другие занятия вскоре отвлекли меня, но за «энтомологический» период я практически избавился от своих страхов. Думаю, что подлинный, объективный интерес и должен приводить к такому катарсису.

Наверное, психологи не согласятся признать, что причиной кошмаров была отвратительная картинка в детской книжке, но так считали в те простодушные времена. Мальчик-с-пальчик забрался на поганку, а снизу ему грозил усатый жук, заметно превосходивший его ростом. Это страшно само по себе, но хуже другое: усы у жука были сделаны из полосочек картона, отделявшихся от страницы и поднимавшихся вертикально вверх. С помощью какого-то дьявольского устройства на обратной стороне картинки усы приводили в движение, они распахивались и защелкивались, точно ножницы – клип-клап-клип! Я и сейчас, когда пишу, вижу их перед собой. Не понимаю, как могла наша разумная мама допустить к нам такую гадость. А может, сама эта книга – порождение моего кошмара? Нет, кажется, она все-таки была.

В 1905 году, когда мне исполнилось семь лет, произошла первая великая перемена в моей жизни: мы переехали в Новый Дом. Отец, по-видимому, преуспевал и потому решил покинуть коттедж, в котором я родился, и выстроить дом подальше от города. «Новый дом», как мы долго его называли, был очень велик даже по моим нынешним меркам; ребенку он казался чуть ли не целым городом. Надуть отца ничего не стоило, и строители бессовестно его обманывали: канализация никуда не годилась, все камины дымили, в комнатах гулял сквозняк. Но все это детям не важно; зато переезд расширил фон нашей жизни. Новый Дом превратился в одного из персонажей моей истории. Я воспитан его бесконечными коридорами, пустыми, залитыми солнцем комнатами, чердачной тишиной и исследованными в одиночестве кладовыми, отдаленным ворчанием кранов и труб, ветром, гудящим под крышей. Все это – и еще книги – составляло мою жизнь.

Отец скупал все книги подряд, и они оседали в Новом Доме. Книги в кабинете, книги в гостиной, книги в гардеробной, книги в два ряда в огромном шкафу на лестнице, книги в спальне, книги, сложенные на чердаке доходившими мне до плеча стопками; всевозможные книги, отражавшие увлечения моих родителей, пригодные для чтения и непригодные, подходящие для ребенка и абсолютно недопустимые. Мне ничего не запрещали. Бесконечными дождливыми вечерами я всегда мог

найти новую книгу; так человек, гуляющий в поле, непременно наткнется на новый цветок. Хотел бы я знать, где же таились эти книги до нашего переезда в Новый Дом? Я впервые задумался над этой загадкой сейчас, когда писал, и ответ мне неизвестен.

За порогом Нового Дома открывался тот самый вид, ради которого, конечно, отец и выбрал это место. Открывая дверь, мы видели бескрайние поля, простиравшиеся по направлению к гавани Белфаста, и далее — вытянутую цепь прибрежных гор: Дивис, Колин, Кейв Хилл. В те далекие дни Британия была всемирным купцом и посредником, и гавань постоянно наполнялась кораблями. Порт притягивал нас, мальчишек, брата — в особенности, и даже сейчас ночной гудок парохода словно по волшебству возвращает меня в детство. Позади дома виднелись Голивудские горы, ниже, зеленее и доступнее прибрежных, но тогда они меня не интересовали. Меня манил только северо-запад, бесконечный летний закат, когда солнце уходит за голубые хребты и грачи тянутся к дому. В том пейзаже и свершились первые роковые перемены.

Прежде всего, брата отправили в закрытую английскую школу, и я на большую часть года остался один. Я хорошо помню свой восторг, когда брат возвращался домой, но почему-то не помню, как горевал при его отъезде. Изменения в жизни брата никак не отразились на наших отношениях. Меня пока учили дома: мама — французскому и латыни, всему остальному — гувернантка Анни Харпер. Почему-то я боялся этой кроткой маленькой женщины; теперь я вижу, что был к ней несправедлив. Анни принадлежала к пресвитерианской церкви, и от нее, между диктантами и арифметической задачей, я услышал проповедь, впервые открывшую мне реальность иного мира, но тогда это значило для меня гораздо меньше, чем события повседневной жизни, которая, судя по моим воспоминаниям, становилась все более одинокой. Возможностей для общения хватало — родители, живший вместе с нами дедушка Льюис (он, правда, преждевременно состарился и оглох), служанки и старый попивающий садовник. Помнится, именно тогда я сделался невыносимым болтуном. Но я всегда мог обрести уединение в доме или в саду. К тому времени я научился читать и писать, и мне было чем заняться.

Я начал писать из-за своей неуклюжести, от которой всегда страдал. Мы с братом унаследовали от отца физический изъян: у всех нас большой палец состоит только из одного сустава. Нижний сустав (тот, что ближе к ладони) вроде бы есть, но это — фикция, согнуть его мы не можем. Во

всяком случае, по той или иной причине, я от рождения не способен ничего делать руками. Я хорошо управлялся с ручкой и карандашом и до сих пор не хуже других повязываю галстук, но с запонкой мне не сладить, не по руке мне и отвертка, ружье или клюшка. Именно это побудило меня писать. Я мечтал создавать вещи, корабли, машины, дома. Я перепортил все ножницы в доме, извел картон — и в слезах признал свое поражение. Оставалось одно — сочинять истории. Я и не подозревал, в какой волшебный мир я вхожу; ведь со сказочным замком можно сделать много такого, чего никогда не добьешься от картонного замка.

Вскоре я получил в собственность одну из мансард и там оборудовал себе «кабинет», повесив на стены свои рисунки и иллюстрации из пестрых рождественских журналов. Туда я перенес чернильницу и ручку, краски и рукописи. Здесь —

Ужели есть счастливейший удел,
Чем наслажденье радостным досугом? —

здесь я с величайшим наслаждением написал и раскрасил свои первые книги. В них я старался совместить оба своих литературных пристрастия, «одетых зверюшек» и «рыцарей в доспехах», и потому писал об отважном мышонке и кролике, который выезжал верхом, во всеоружии на смертный бой с котом-великаном. Однако во мне уже пробудился дух систематизатора, в свое время заставивший Троллопа так тщательно обустраивать Барсетшир. На каникулах мы с братом играли в современную страну зверюшек, поскольку брату требовались поезда и пароходы. Средневековая страна, о которой я писал, была той же самой, но в иное, древнее время, и эти два периода мы скрупулезно соединяли. Так, от литературы перейдя к историографии, я принялся за подробную летопись Страны Зверюшек. Сохранилось несколько ранних вариантов, но довести труд до конца я так и не сумел; нелегко заполнить событиями столетия, когда единственный источник — твоя фантазия. Зато одной подробностью своей работы я горжусь до сих пор: все похождения рыцарей, описанные в моих романах, я лишь слегка затрагивал, предупреждая читателей, что это, скорее всего, «просто легенда». Бог весть, откуда я узнал, что историк должен критически относиться к эпосу.

От истории до географии один шаг. Вскоре появилась карта Зверландии, вернее, несколько почти соответствовавших друг другу карт. Теперь

оставалось совместить эту страну с Индией моего брата. Для этого мы решили перенести Индию с ее обычного места, превратив ее в остров, северное побережье которого оказалось «позади Гималаев». Брат тут же наладил пароходное сообщение между нашими странами. Мы создали целый мир, разрисовали его всеми красками из моей коробки и принялись населять.

Из прочитанных в то время книг я запомнил почти все, но отнюдь не все полюбил. «Сэр Найджел» Конан Дойла впервые познакомил меня с «рыцарями в доспехах», но я не стал бы перечитывать эту книгу и уж конечно не взялся бы за «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена, хотя тогда только эта книга рассказывала хоть что-то о Круглом столе. Я, к счастью, искал в ней романтику и рыцарей, совершенно не замечая дешевой насмешки над ними. Гораздо лучше, чем обе эти книги, была трилогия Э. Несбит «Пятеро детей и Чудище», «Феникс и ковер желаний», «Амулет». Особенно дорог мне «Амулет»; благодаря ему я впервые ощутил древность, «темное прошлое и бездну времен». Эти книги я до сих пор перечитываю с наслаждением. Очень любил я полное издание «Гулливера» с массой картинок. Мог я и целыми днями перебирать старые подшивки «Панча» в кабинете отца. Тениэл, как и я, любил рисовать зверюшек в одежде – британского льва, русского медведя, египетского крокодила и прочих, а небрежное изображение флоры приятно соответствовало моим собственным недостаткам. Позже появились книги Беатрис Поттер, и с ними наконец в жизнь вошла красота.

Совершенно очевидно, что в шесть, семь, восемь лет я жил исключительно воображением; по крайней мере, именно опыт, связанный с воображением, кажется мне самым важным для тех лет. Не стоит говорить, к примеру, о поездке в Нормандию; хотя я прекрасно ее помню, я и без нее был бы точно таким же. Однако воображение – понятие расплывчатое, а мне нужны четкие границы. Воображением именуют и грэзы наяву, фантазии, утоляющие несбывшиеся мечты. Все это мне более чем знакомо. Я часто воображал себя этаким молодцом и хватом, но страна зверей – совсем другое дело. В этом смысле ее нельзя назвать фантазией хотя бы потому, что я в ней не жил, я ее создал. Творчество существенно отличается от «грэзов». Если вы не видите разницы, значит, вы не знаете одного из «воображений»; тот, кто знает, – поймет. В мечтах я превращался в хлыща; рисуя карту и сочиняя хронику, я становился писателем. Заметьте, писателем, а не поэтом! Созданный мной мир был (по

крайней мере, для меня) очень интересен, полон веселья и шума, событий и характеров, а вот романтики в нем не было. Этот мир был на удивление прозаичен¹. Если употреблять слово «воображение» в высшем, поэтическом смысле, выходит, что в моем мире воображения не было. Там было иное, о чем я сейчас и пытаюсь рассказать. Об этом «ином» куда лучше поведали Траерн и Уордсворт, но каждый рассказывает свою историю.

Прежде всего пришло воспоминание о воспоминании. Был летний день, я стоял в саду возле цветущего смородинного куста, и внезапно, толчком, без предупреждения, из глубины не лет, а столетий, во мне поднялось воспоминание о том, прежнем утре, когда брат вошел в детскую с игрушечным садом в руках. Не могу найти слова, чтобы выразить это чувство. Ближе всего «эдемское блаженство» у Мильтона, если только услышать в слове «блаженство» связь с «блаженный», «юродивый». Конечно, я чего-то хотел, но чего? Ведь я тосковал не по выложенной мхом коробке из-под печения и даже не по безвозвратному прошлому, хотя все это я ощущал.

Ιοῦ λίαν ποθῶ² – прежде чем я понял свое желание, оно исчезло, миг миновал, мир вновь сделался обычным. Если что и нарушало покой, то лишь тоска по исчезнувшей тоске. Это длилось миг, и в каком-то смысле всё, что случилось со мной раньше, не имеет в сравнении с этим значения.

Второе мгновение пришло из книги «Бельчонок Наткин». Хотя я любил все сказки Беатрис Поттер, они казались просто увлекательными, а в этой меня тревожило, меня потрясало то, что я могу назвать лишь Образом Осени. Может быть, нелепо влюбляться в какое-то время года, но мое чувство было сродни влюбленности; и, как и в первом случае, я испытывал острое желание. Вновь и вновь возвращался я к книге не для того, чтобы удовлетворить желание (это и невозможно – кому дано обладать осенью?), но чтобы его оживить. Здесь снова были блаженное изумление и ощущение бесконечной его важности. Это совершенно не походило на обычную жизнь и нормальные удовольствия. Как теперь говорят, оно – из другого измерения.

¹ Для тех, кто читал мои детские книги, скажу, что Зверландия не имела ничего общего с Нарнией, за исключением разве очеловеченных зверушек. Зверландия принципиально лишена даже намека на волшебство.

² О, я желаю слишком много (др.-греч.). – Прим. ред.

Третьим мгновением радости я обязан поэзии. Я увлекся «Сагой короля Олафа» Лонгфелло, но любил в ней только сюжет и мощный ритм. Однажды, бесцельно перелистывая страницы, я наткнулся на нерифмованный перевод «Драпы» Теньера и испытал совершенно иное наслаждение, будто меня окликнул голос из неведомой страны:

Я слышал голос, взывавший:
Бальдр прекрасный
Умер, умер!..

Я ничего не знал о Бальdre, но в тот же миг вознесся в бескрайне пространство северных небес, я мучительно жаждал чего-то неведомого, неописуемого – беспредельной шири, сурового, бледного холода. В тот же миг я утратил это желание и тосковал уже только по нему.

Читатель, которому показались не очень интересными эти три эпизода, должен отложить книгу – такова истинная история моей жизни. Для тех же, кто готов читать дальше, я назову главное в этих трех событиях – неудовлетворенное желание, которое само по себе желаннее любого удовлетворения. Я назвал это чувство радостью, и это – научный термин, который нельзя отождествлять со счастьем и удовольствием. У моей радости есть с ними одно общее свойство – каждый, кто их испытал, хочет их вернуть. Сама по себе радость скорее похожа на особую печаль, но это именно те муки, которых мы жаждем. Несомненно, каждый, кто их испытал, не променял бы их на все удовольствия мира. Удовольствия, как правило, в нашем распоряжении; радость нам неподвластна.

Не могу с точностью сказать, какие из описанных мной событий произошли до, а какие – после нашего великого горя. Наступила ночь, я плохо себя чувствовал и плакал оттого, что у меня болели зубы и голова, а мама не приходила. Не приходила она потому, что заболела сама; в ее комнате собралось множество докторов, по всему дому раздавались голоса и шаги, открывались и захлопывались двери. Это длилось много часов, а потом ко мне пришел плачущий отец и попытался сообщить мне то, что напуганная душа никак не могла постичь. У мамы был рак, он развивался как обычно: операция (в те времена оперировали на дому), мнимое выздоровление, возвращение недуга, мучительные боли и смерть. Отец так и не оправился от этой утраты.

Я думаю, дети страдают не меньше взрослых, но по-другому. Нас с братом горе постигло еще до того, как мама умерла. Мы теряли ее постепенно, по мере того как она уходила из нашей жизни в объятия врачей, недуга и морфия, а жизнь превращалась во что-то грозное и чуждое. Дом наполнялся непонятными запахами, полуночными звуками, зловещим шепотом. Это несчастье повлекло за собой два последствия, одно – очень печальное, второе – хорошее. Беда разлучила нас не только с матерью, но и с отцом. Говорят, общее горе сближает, но мне трудно в это поверить, когда несчастье обрушивается на людей совершенно разного возраста. По моему личному опыту, горе старших отпугивает, парализует детей. А может быть, это наша вина: если бы мы были «хорошими детьми», мы могли бы помочь отцу – но мы не сумели. Он никогда не отличался крепкими нервами и не мог сдерживать свои эмоции, а в эти тревожные дни его характер сделался совершенно непредсказуемым, он говорил сбивчиво и вел себя странно. Так, по особой жестокости судьбы, в эти месяцы несчастий, сам того не ведая, он вместе с женой терял и сыновей. Мы с братом все больше привыкали полагаться только друг на друга, только друг другу доверяли. Кажется, мы (во всяком случае – я) уже научились лгать отцу. Из дома ушло все, что делало его домом; все, кроме братской дружбы. С каждым днем мы сближались (это и есть «хорошее»). Два напуганных мальчика жались друг к дружке, пытаясь отогреться в ледяном мире.

В детстве горе осложняется многими другими муками. Меня привели в спальню, где лежала мама, – «попрощаться», но я увидел не «ее», а «это». На взрослый взгляд она не была безобразной, если бы не то полное безобразие, отсутствие образа, которое и зовется смертью. Скорбь исчезла, я испытывал ужас. Говорят о благообразии усопших, но худшее из живых лиц цветет ангельской красотой по сравнению с прекраснейшим лицом мертвеца. Все, что было потом – гроб и цветы, могила и самые похороны, – все вызывало во мне только страх и отвращение. Я даже попытался объяснить тете, как нелеп траур. Многим взрослым эта речь показалась бы тщеславной и бессердечной, но наша тетя Анни, канадская жена дяди Гаса, была почти так же добра и разумна, как мама. Ненависть к суете и внешней стороне похорон, вероятно, укрепила во мне недостаток, который я так и не смог преодолеть: неприязнь ко всему общественному и публичному, угрюмую неспособность к соблюдению формальностей.

Смерть мамы породила во мне то, что некоторые (но не я сам) назвали бы первым религиозным опытом. Когда болезнь признали безнадежной, я вспомнил, чему меня учили: молитва с верою должна исполниться. И вот я принялся волевым усилием вызывать в себе уверенность, что мои молитвы непременно будут услышаны; я действительно поверил, что верю в это. Когда мама все-таки умерла, я стал добиваться чуда. Интересно, что неудача никак не подействовала на меня. Этот прием не сработал, но я уже привык к тому, что не все фокусы удаются. Дело, видимо, в том, что убежденность, которую я возбуждал в себе, не имеет никакого отношения к вере, и потому разочарование ничего не изменило. Я обращался к Богу (как я Его себе представлял) без любви, без почтения, даже без страха. В том чуде, которого я ждал, Бог должен был сыграть не роль Искупителя или Судьи, а роль волшебника; сделав то, что от Него требовалось, Он мог уйти. Мне и в голову не приходило, что та потрясающая близость к Богу, которой я добивался, связана еще с чем-то, кроме счастья нашей семьи. Думаю, такая «вера» часто вспыхивает в детях, и крах ее на них не отражается, как ничего не изменило бы чудо, если бы оно произошло.

Со смертью мамы из нашей жизни ушло надежное счастье, исчезли покой и лад. Оставались забавы и удовольствия, бывали и мгновения радости, но прежняя безопасность не возвращалась никогда. Уцелели острова; великий материк ушел на дно, подобно Атлантиде.

II. КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ

Счет с помощью цветных палочек.

Педагогическое приложение к «Таймс»

19 ноября 1954

Хлоп-хлоп-хлоп... мы едем в коляске по неровной брускатке Белфаста в сырому полумраке сентябрьского вечера. Все трое — отец, брат и я. 1908 год, я впервые отправляюсь в школу. Все подавлены. Меньше всего обнаруживает свои чувства брат, хотя у него больше причин грустить, ведь он-то знает, что нас ждет, он уже не новичок. Я, вероятно, несколько возбужден, но не очень. Главным образом раздражает отвратительный костюм, в который меня вынудили облачиться. Еще утром, часа два назад, я бегал на воле в шортах, свитерке и сандалиях, а теперь потею и задыхаюсь в плотном темном костюме, итонский воротничок сжимает горло, ноги уже болят в новых ботинках. Бриджи застегиваются пуговицами у колена; каждый вечер, сорок недель в году, в течение многих лет, раздеваясь по вечерам, я буду видеть на своей коже красный отпечаток этих пуговиц. Ужасней всего цилиндр, который сжимает голову, будто железный. Я читал о мальчиках, попадавших в подобную ситуацию и радовавшихся, что они большие, по сам я таких чувств не испытывал. Мой опыт убеждал, что ребенком быть лучше, чем школьником, а школьником — лучше, чем взрослым. Брат на каникулах предпочитал не вспоминать о школе, а для отца, которому я в этом верил, жизнь состояла из тяжкой работы и страха перед разорением. Впадая в соответствующее настроение (что бывало нередко), он восклицал: «Все это кончится работным домом» — и верил себе или, по крайней мере, думал, что верит, и я, принимая все всерьез, начал опасаться взрослой жизни. Школьная форма и впрямь показалась мне тюремной.

Мы приехали в порт, сели на старый рейсовый пароход до Флитвуда, и отец, печально побродив по палубе, попрощался с нами. Он был глубоко взволнован, а я, увы, сконфужен и сосредоточен на себе. Когда отец сошел на берег, мы даже приободрились. Брат принял показывать мне корабль, рассказал о других судах, стоявших в гавани. Он казался сведущим путешественником, многое повидавшим человеком. Меня охватило приятное возбуждение. Мне нравилось отражение порта и бортовых огней

в масляной воде, скрип лебедок, теплый запах моторного отделения. Отплываем, ширится черная полоса между нами и берегом, палуба вибрирует под ногами. Вскоре мы вышли в море и ощутили вкус соли на губах, скопление огней расплывалось вдали. Больше я ничего не помню. Мы уже улеглись, когда поднялся ветер и началась качка. Брата тошнило, я по глупости завидовал ему – ведь он страдал от морской болезни, как настоящий путешественник. Кое-как я сумел вызвать рвоту, но, увы, я оказался – и остался на всю жизнь – хорошим моряком.

Мое первое впечатление от Англии будет, конечно, непонятно англичанину. Мы высадились на берег примерно в шесть утра, но было темно, как в полночь, и мир, в котором мне предстояло жить, сразу вызвал у меня ненависть. Серым утром плоское побережье Ланкашира и впрямь выглядит мрачно, по мне оно показалось долиной Стикса. Странное английское произношение превращало голоса людей в вопли бесов, но страшнее всего был пейзаж между Флитвудом и Юстоном. Даже сейчас эта местность кажется мне самой скучной, самой негостеприимной на всем острове, но для ребенка, всегда жившего у моря, вблизи гор, она была... ну, как для юного англичанина – Россия. Бесконечная равнина, миля за милю, бесцветная страна, уводившая прочь от моря, окружавшая, сковывавшая. Все было не так: деревянные ограды вместо каменных стен и изгородей, красные кирпичные фермерские домики вместо белых коттеджей Ирландии; поля чересчур велики, даже копны сена неправильные. Верно говорит «Калевала» – в чужом доме и пол кривой. Позднее я примирился со всем этим, но понадобилось немало лет, чтобы избавиться от вспыхнувшей в тот миг ненависти к Англии.

Мы ехали в маленький городок в Хертфордшире; назовем его Белсен¹. Лэм воспевал «Зеленый Хертфордшир», но нам, ирландцам, он казался желтым, плоским и каменистым. Климат Англии столь же отличается от ирландского, как и от континентального. В Белсене я впервые испытал резкие смены погоды: то жгучий холод, то колючий туман, то одуряющая жара, а то вдруг грозы. Там, глядя в лишенное занавесок окно дортуара, я впервые познал призрачную красоту полной луны.

В школе в то время насчитывалось восемь или девять интернов и столько же приходящих учеников. Спортивные игры, за исключением бесконечной лапты на жесткой спортплощадке, потихоньку вымирали и кончились

¹ «Белсеном» (Belsen) здесь и далее автор называет школу «Виньярд» (Wynyard School), в городке Уотфорд (Watford) в графстве Хертфордшир, к северо-западу от Лондона. – Прим. ред.

вскоре после моего приезда. Все купание сводилось к еженедельной ванне. Я попал в эту школу в 1908, зная начатки латыни, которым меня обучила мать, и вышел из нее в 1910 с теми же латинскими упражнениями, так и не притронувшись ни к одному римскому автору. Главным орудием обучения были часто пускавшиеся в ход розги, висевшие на позеленевшей каминной доске в единственной классной комнате. Учили нас трое: владелец и директор школы (мы прозвали его Стариком), его взрослый сын (Малыш) и вечно сменявшиеся младшие учителя. Один из них не продержался и недели, другого Старик рассчитал при учениках, приговаривая, что, если бы сан ему не запрещал, он бы и вовсе спустил его с лестницы. Эта сцена почему-то разыгралась в дортуаре. Все помощники, кроме того, который продержался меньше недели, боялись Старика так же, как и мы. Потом учителей со стороны совсем не стало, и новичков отдали на попечение младшей дочери Старика. К этому времени постоянных учеников насчитывалось лишь пятеро. Вскоре Старик закрыл школу и принялся исцелять людские души. Я оставался до последнего и покинул судно, когда оно пошло ко дну.

Старик обрек себя на одиночество сильной личности, будто пиратский капитан. Никто в доме не смел держаться с ним на равных; никто, кроме Малыша, не смел даже заговаривать с ним. За едой мы видели всю семью. Сын сидел по правую руку отца, еду мужчинам подавали особо. Менее почетные куски доставались жене хозяина, троим взрослым дочерям (они ели в молчании), помощникам (ели в молчании и они), ученикам (то же самое). Жена никогда не обращалась к Старику по собственной инициативе, однако ей хотя бы разрешалось отвечать ему, а дочери, три трагические фигуры, зимой и летом в одних и тех же поношенных черных платьях, лишь шептали: «Да, папа» или «Нет, папа» – в тех редких случаях, когда отец к ним обращался. Гости почти не навещали этот дом. Старик и его сын пили за обедом пиво, этот же напиток предлагался наемному учителю, однако ему следовало отказаться. Лишь один решился попросить пива и получил его. Через минуту Старик поставил его на место, с грозной ironией вопросив: «Не угодно ли вам еще пива, мистер Н.?» Мистер Н. оказался смельчаком и невозмутимо ответил: «Да, мистер С., я не прочь». Это он не продержался у нас и недели, и для нас, мальчишек, то были тяжелые дни.

Я-то скорее ходил в любимчиках, хотя, честью клянусь, этой позиции не добивался, да и выгоды ее были невелики. Брата он тоже терзал нечасто.

У Старика были излюбленные жертвы, и уж они-то никогда не могли ему угодить. Я как сейчас вижу: Старик входит после завтрака в класс, оглядывается и восклицает: «Ага, вот вы где, Рис, скверный мальчишка! Если я не выбьюсь из сил, уж я вам всыплю сегодня». Он не сердился, но и не шутил. Этот крупный мужчина, толстогубый и бородатый, вроде ассирийских владык, отличался невероятной силой и нечистоплотностью. Ныне любят порассуждать о садизме, но я не усматриваю в жестокости Старика признаков сексуального извращения. Уже тогда я догадывался, а сейчас ясно вижу, почему он избирал именно этих мальчиков. Все они не дотягивали до определенного социального статуса, у всех сохранялся простонародный выговор. Бедняга П., милейший, честный, прилежный, дружелюбный, искренне верующий, каждый день получал порку за одну единственную провинность: он был сыном дантиста. На моих глазах Старик заставил его наклониться в угол классной и принялся избивать так, что П. с каждым ударом перелетал через всю комнату. П. перенес столько порок, что не издавал ни звука, лишь под конец истязаний из груди его вырвался вой уже совершенно нечеловеческий. Как бы я хотел забыть хриплый скрежещущий крик, серые лица мальчиков и наше мертвое молчание¹.

Несмотря на все строгости, мы на удивление мало работали. Может быть, отчасти потому, что наказание сделалось бессмысленным и непредсказуемым, а отчасти и потому, что нас очень странно учили. Старик не преподавал ничего, кроме геометрии, которую он в самом деле любил. Он собирал класс и принимался задавать вопросы. Если ответ ему не нравился, он медленно и спокойно говорил: «Принесите мою трость. Вижу, она мне понадобится». Когда мальчик запинался, Старик колотил тростью по парте и орал: «Думай! Думай! Думай!» И, уже готовясь к экзекуции, бормотал: «Давай, давай, давай!» Разозлившись по настояющему, он начинал гримасничать, ковырять в ухе и причитывать: «Ай-яй-яй». Порой он вскаивал и кружил вокруг своей жертвы, точно медведь в балагане. А Малыш, помощник или младшая дочь тем временем шепотом опрашивали за другой партой нас, новичков. Такие «уроки» занимали немного времени; что же делать мальчикам в остальные часы? Старик решил, что меньше всего хлопот они причинят, если усадить их за арифметику. Приходя в класс в девять утра, каждый брал грифельную

¹ Это наказание причиталось за ошибку в доказательстве теоремы.

дощечку и усаживался считать. Потом нас вызывали отвечать, и мы возвращались на свое место, чтобы считать, считать, считать – до бесконечности. Прочие науки и искусства всплывали на часок, словно острова (скалистые и очень опасные),

Которые, подобно самоцветам,
Разверстую пучину украшают.

Пучиной был безбрежный океан арифметики.

Перед обедом нужно было доложить, сколько задач ты решил. Лгать было опасно, но надзор за нами был слабым и помощи тоже не предоставляли. Брат (я же говорил, что он успел приобрести жизненный опыт) вскоре нашел правильный выход: каждое утро он совершенно честно предъявлял пять примеров, не уточняя, что это все те же примеры, вчерашние.

Пора остановиться. Я мог бы еще долго описывать Старика, я так и не поведал кое о чем из самого плохого. Но, может быть, сосредотачиваться на этом дурно; во всяком случае, не обязательно. Одну хорошую вещь я могу вспомнить и о нем. Как-то раз один ученик, мучимый раскаянием, признался во лжи, в которой никто не мог бы его уличить. Наш монстр растрогался, похлопал перепуганного мальчишку по спине и проворчал: «Всегда говори правду». Кроме того, хотя он учил жестоко, геометрию он преподавал хорошо. Он пробуждал логику, и эти уроки пригодились мне на всю жизнь. Ему есть одно оправдание: много лет спустя брат повстречал человека, который провел детство по соседству с нашей школой. Этот человек, его родители и, видимо, все соседи считали Старика ненормальным. Быть может, они правы. Кстати, если болезнь начала развиваться у Старика до нашего появления в школе, это проясняет еще одну загадку: мы ничему не научились там, но Старик с гордостью перечислял нам прежних выпускников, получивших университетские стипендии. Значит, его школа не всегда была таким болотом, как в наше время.

Почему отец отправил нас в эту школу? Не от недостатка заботы. Сохранившаяся переписка показывает, что он рассматривал много других вариантов, прежде чем выбрать Белсен. Я достаточно хорошо знаю отца, чтобы понимать: в таком важном деле он не полагался на первый свой выбор (который мог бы оказаться верным), ни даже на двадцать первый

(который был бы сколько-нибудь сносным). Он продолжал свои изыскания, пока не пришел к сто первому выводу, непоправимо ложному. Этим всегда кончаются ухищрения простака, воображающего себя умником. Подобно «Скептику в религии» Эрла, отец всегда оказывался «столь проницателен, что обманывал сам себя». Он похвалялся умением читать между строк. Подвергая сомнению очевидный смысл любого факта или документа, отец бессознательно творил некий истинный и тайный смысл, незримый для всех, кроме него, и порожденный неугомонным воображением. Полагая, что он правильно истолковывает присланный Стариком проспект, отец создал целую легенду о Белсенской школе. Несомненно, все это стоило ему немалого беспокойства и даже страданий.

Казалось бы, этот миф тут же развеется, когда мы, побыв в Белсене, расскажем подлинную историю; но нет. Полагаю, иначе и быть не могло – если бы отцы в каждом поколении знали, что происходит с их детьми в школе, вся история образования сложилась бы иначе. Во всяком случае, ни брату, ни мне не удалось переубедить отца. Во-первых (позже это стало еще очевидней), отца вообще было трудно в чем-либо убедить – чересчур активный разум мешал ему слушать. То, что мы пытались ему сказать, никогда не совпадало с тем, что отец слышал. Правда, мы не слишком-то и старались. Как и другие дети, мы не знали, от чего отсчитывать, и считали, что все горести Белсена – это самые обычные и неизбежные школьные неприятности. Кроме того, язык нам сковывала гордыня. Мальчик, вернувшийся домой на каникулы (особенно в первые недели, когда блаженство кажется вечным), принимается «строить из себя». Он предпочитет изобразить наставника шутом, а не чудовищем; ведь страшно показаться трусом или нытиком, но невозможно достоверно описать наш концентрационный лагерь, не обнаружив, что там мы на тринадцать недель превращались в бледные, дрожащие, заплаканные создания. Всем охота похвастать боевыми ранениями, но кто будет хвалиться рубцами рабства? Не стоит винить отца за горестные и бессмысленные годы, проведенные нами в Белсене, – лучше, говоря словами Данте, вспомнить «следы добра, что обнаружил там».

Именно в этой школе я обрел если не друзей, то хотя бы товарищей. Когда брат поступил туда, новичков дразнили. На первых порах я располагал покровительством брата (через несколько семестров он перешел в школу, которую мы назовем Виверн), но мне особая защита уже не требовалась. В эти последние, закатные годы интернов в нашей школе

стало мало и с нами так дурно обращались, что не было никакого смысла дополнительно отравлять жизнь друг другу. Новички появляясь перестали, а мы, хоть порой ссорились, и даже по-крупному, задолго до конца испытаний смыклись друг с другом и столько вытерпели вместе, что стали если не друзьями, то давними приятелями. Вот почему Белсен не очень повредил мне. Никакие притеснения старших не терзают ребенка так, как издевательства сверстников. Мы, пятеро уцелевших, провели вместе немало веселых часов. Отмена спортивных игр плохо отразилась бы на пребывании в престижной школе, к которой нас якобы готовили, но тогда это упущение только радовало. Но выходным нас отправляли одних на прогулку. Ходили мы мало, но зато покупали сладости в сонной деревушке и посиживали на берегу канала или на откосе железной дороги, возле тоннеля, высматривая поезда. Здесь Хертфордшир не казался таким враждебным. Разговор наш не ограничивался немногими темами, до которых сужается кругозор ученика старших классов, — мы еще сохраняли детскую любознательность. Тогда я впервые принял участие в философском споре. Мы обсуждали, чему подобно будущее — невидимой линии или линии, еще не начертанной. Не помню, какую точку зрения я отстаивал, но я отстаивал ее с искренним энтузиазмом. И еще у нас было то, что Честертон назвал «медленным созреванием старых шуток».

Читатель видит, что в школе со мной произошло все то же: дома беда сблизила меня с братом, а здесь, при постоянных неприятностях, страх и ненависть к Старику объединили одноклассников. Наша школа, конечно, похожа на школу доктора Гrimстона во «Все наоборот», только у нас не нашлось доносчика. Все пятеро сплотились против общего врага. Наверное, эти союзы, столь рано складывавшиеся в моей жизни, оказали на меня сильное влияние. Мир до сих пор представляется мне как «мы двое» или «мы, друзья» (в каком-то смысле «мы, счастливые»), ставшие против чего-то, что больше и сильнее нас. Положение, в котором Англия оказалась в 1940, показалось мне вполне естественным, словно этого я и ожидал. Дружба была основой моего счастья, а множество знакомых или общество в целом значили очень мало. Я никак не мог понять, для чего нужно такое количество знакомых, что из них уже не сделаешь друзей. По той же причине я не испытываю интереса (быть может, напрасно) к массовым движениям, к событиям, не затрагивающим тебя непосредственно. И в истории, и в романе сражение захватывает меня тем сильнее, чем меньше в нем участников.

Еще в одном отношении школа воспроизвела мой домашний опыт. Жена Старика умерла; произошло это посредине семестра, с горя он совсем озверел – так озверел, что Малыш даже извинялся за него перед нами. Вы уже знаете, как я научился бояться и ненавидеть эмоции. Новый опыт укрепил мой страх.

Но я еще не упомянул самого главного. Именно там я впервые сделался верующим. Насколько я понимаю, этому способствовали посещения церкви – каждое воскресение нас туда водили. Церковь была «высокой», «англо-католической». На сознательном уровне многие особенности службы возмущали меня, ведь я был протестантом из Ольстера, к тому же все эти странные обряды составляли часть ненавистной английской жизни. Однако бессознательно я подпадал под обаяние горящих свечей и благовоний, пышных облачений и гимнов, которые мы пели, стоя на коленях. И все же это главное – важно то, что там я воспринял христианское учение (а не что-то «возвышенное») и наставляли нас люди, по-настоящему верующие. Я не страдал скептицизмом, и во мне ожило то, что казалось мне исконной верой. К этому опыту примешивалась изрядная доза страха, по-моему, довольно полезного и даже необходимого, но если кому-то кажется, что в моих книгах я излишне озабочен адом, то корни этого интереса надо искать не в моем пуританском детстве, а в англо-католическом Белсене. Я боялся за свою душу, в особенности – пронзительными лунными ночами, когда свет был в незанавешенное окно. Как памятно мне сонное посапывание остальных мальчиков! По-моему, все это было мне на пользу. Я начал серьезно молиться, я читал Библию и учился прислушиваться к голосу совести. Мы с ребятами часто говорили о религии, и, если память мне не изменяет, это были разумные и здравые беседы, без истерической взвинченности и лицемерия, свойственных старшеклассникам. Позже вы увидите, как я от этого отошел.

Конечно, то было потерянное время; если бы школа Старика не закрылась и я провел бы там еще два года, на университетской карьере можно было быставить крест. Я «прошел» лишь геометрию да часть английской грамматики Веста, и ту я, кажется, выучил сам; все остальное торчит из океана арифметики, перепутавшись, словно затопленный лес: даты, сражения, экспорт, импорт. Мы забывали это, едва успев выучить, да и от того, что запомнили, было мало проку. Воображение тоже угасало. На много лет я лишился того, что называю радостью, даже не вспоминал о ней. Читал я преимущественно всякий вздор, но, поскольку школа не

располагала собственной библиотекой, Стариk не нес ответственности за мое увлечение рассказами для мальчиков из «Капитана». Все удовольствие состояло в осуществлении желаний, я подставлял себя на место героя и наслаждался его успехами. Когда мальчик бросает сказки и берется за «книги для юношества», он многое теряет и мало приобретает. Кролик Питер пробуждает бескорыстный интерес, ведь ребенок не собирается превращаться в кролика, зато он может в него играть, точно так же, как позже – играть Гамлета. А вот неудачник, ставший капитаном национальной сборной, – это воплощение твоих честолюбивых грез. Я полюбил и романы об античности: «Камо Грядеши», «Тьма и рассвет», «Гладиаторы», «Бен Гур». Можно было бы предположить, что этот интерес связан с обращением, но это не так – хотя ранние христиане участвовали во многих сюжетах, не они интересовали меня. Меня восхищали сандалии и тоги, рабы, императоры, галеры и цирк; страсть эта, как я теперь понимаю, была эrotической и не слишком здоровой. Кроме того, книги по большей части были плохие. Большее влияние на меня оказали Райдер Хаггард и научная фантастика Уэллса. Иные миры пробуждали во мне какой-то умозрительный интерес, совершенно отличавшийся от моего отношения к другим книгам. Это ни в коем случае не было романтикой неведомой дали. Ни Марс, ни Луна не приносили мне «радость». Влечеnие было сильнее и примитивней, оно было яростным, как плотская страсть. Позже я понял, что такая грубая жадность – признак душевного, а не духовного голода; видимо здесь приемлемы психоаналитические толкования. Хотелось бы добавить, что написанные мной инопланетные приключения – не попытка удовлетворить подростковую тягу, я скорее пытался изгнать беса или подчинить его более высокой и чистой фантазии. Что касается психоаналитического подхода к такой словесности, он вполне оправдан и фанатизмом тех, кто увлекается ею, и отвращением тех, кто ее в руки не берет. Яростное неприятие и неистовое увлечение одинаково навязчивы и насильственны и потому равным образом заслуживают изучения.

Что ж, хватит о Белсене; год не состоял из одних семестров. Прозябанie в скверном интернате прекрасно готовит к христианской жизни – мы учимся жить надеждой, даже верой, ведь в начале семестра каникулы и родной дом столь далеки, что представить их не легче, чем рай. На фоне повседневных ужасов они до нелепости призрачны. Задание по геометрии заслоняет вожделенные каникулы точно так же, как ожидание серьезной

операции может заслонить самую мысль о рае. Однако каждый раз, неизменно наступал конец семестра. Нереальное, астрономическое число – шесть недель – постепенно сменялось обнадеживающими подсчетами – через неделю, через три дня, послезавтра – и, наконец, в ореоле почти сверхъестественного блаженства к нам являлся Последний день. Этот восторг требовал сидра и яблок, он ледяной волной сбегал по позвоночнику и ударял в желудок, порой мы, в сущности, переставали дышать. Правда, была и оборотная сторона: в первую же неделю каникул приходилось соглашаться с тем, что учебный год наступит вновь. Так здоровый юноша в мирное время готов признать, что когда-то он умрет, но самое мрачное *memento mori* не убедит его, что это в самом деле случится. И опять же, невероятное все же наступало. Усмехающийся череп проступал под всеми масками, несмотря на уловки воли и воображения, был последний час – и снова цилиндр, итонский воротничок, штаны с пуговицами у колена и – хлоп-хлоп-хлоп – вечерняя поездка в порт. Я совершенно убежден, что эти воспоминания облегчили мне переход к вере. Некоторые вещи намного легче вообразить, когда у тебя есть соответствующий опыт: я легко могу представить себе в благополучные времена, что я умру и сгнию или что мир исчезнет и превратится в тень, как трижды в год превращались в тень Старик и его трость, омерзительная еда, вонь карболки и влажная постель. Мы уже знали, что все в мире преходящее.

Обращаясь к домашней жизни тех лет, я сталкиваюсь с хронологическими проблемами. Школьные занятия в какой-то мере отражаются в сохранившихся дневниках, но медлительное, постоянное движение семейной жизни ускользает. Незаметно нарастало отчуждение от отца. Отчасти в этом никто не виноват, отчасти виноваты мы с братом. Какой добротой и мудростью должен обладать человек сильных чувств, под гнетом своей потери вынужденный воспитывать двух озорных и шумных мальчишек, полностью сосредоточенных друг на друге! Не только слабости отца, но и его достоинства оборачивались против него. Он был добр и великодушен и никогда бы не ударил ребенка в гневе, но он был слишком импульсивен, чтобы решиться на порку по зрелом размышлении во имя принципа, поэтому единственным средством поддержания дисциплины оставался язык. И тут роковая склонность к патетике (я вправе говорить о ней, поскольку ее унаследовал) делала отца смешным. Он хотел обратиться к нам с краткой продуманной речью, взывая к разуму и совести, но, увы,

он стал оратором задолго до того, как стал отцом. Много лет отец был прокурором. Едва он начинал говорить, как слова наплывали сами, опьяняя его. И вот на мальчишку, разгуливавшего в сандалиях и по неосторожности промочившего ноги или не вымывшего за собой ванну, обрушивалось нечто вроде «Доколе, Катилина» или речь Берка против Уоррена Гастингса. Аллегория громоздилась на аллегорию, один риторический вопрос следовал за другим, дело довершали жесты, блеск глаз и омраченное лицо, паузы и каденции. Паузы были хуже всего. Одна из них как-то раз так затянулась, что брат, наивно решив, будто головомойка миновала, тихонько взял книгу и стал читать; отец, всего на полторы секунды передержавший паузу, естественно, воспринял это как «хладнокровное, умышленное оскорбление». Несоизмеримость наших проступков и его инвектива напоминает мне адвоката у Марциалла, который выходит из себя, перечисляя всех злодеев римской истории, тогда как суть тяжбы – три заблудившиеся козы.

Прошу учесть, любезный суд,
потраву совершили козы.

Увлекшись своей речью, наш бедный отец забывал не только о сути дела, но и о нашем уровне восприятия, изливая на нас огромный запас лексики; до сих помню такие выражения, как «изощренный», «вопиющий», «пополнение». Чтобы ощутить всю сочность его речи, надо знать, какую энергию вкладывает разгневанный ирландец во взрывные согласные и перекатывающееся «р». Едва ли можно придумать худший метод воспитания. До какого-то возраста отцовские речи потрясали меня невыразимым ужасом. Сквозь чащобу эпитетов, в сумбуре непонятных слов я отчетливо различал только одну мысль: слушая отца, я и впрямь верил, что разорение близко, что вскоре мы будем побираться, что он навеки запрет дом и оставит нас жить в школе, что нас сошлют в колонии и там преступный путь, на который мы, очевидно, вступили, завершится виселицей. Я лишался последнего убежища, почва уходила из-под ног. Если я просыпался ночью и не сразу различал дыхание брата на соседней кровати, я думал, что они с отцом тайно уехали в Америку, покинув меня одного.

Так отцовская риторика воздействовала на меня какое-то время, потом она стала смешной. Я даже помню, когда произошла роковая перемена, –

эта история показывает, сколь справедлив был гнев нашего отца и как нелепо он выражался. Однажды брат задумал соорудить палатку. Мы вытащили из кладовки старую простыню, а когда нам понадобились колышки, отыскали лестницу в душевой. Вооружившись топориком, мы живо разделались с ней, вбили четыре колышка в землю и натянули простыню над ними. Чтобы проверить надежность конструкции, брат забрался наверх, после чего мы убрали обрывки простыни, совершенно забыв про колышки. Вечером, вернувшись с работы и пообедав, отец вышел с нами в сад. Четыре тонких столбика, торчавшие из земли, возбудили в нем вполне законное любопытство, последовал допрос с пристрастием, и мы не отпирались. Гром и молния обрушились на нас, все пошло по заведенному обычаю, но когда речь достигла кульминации: «Но я узнаю, что вы сломали лестницу! Зачем, позвольте спросить? Чтобы создать какое-то подобие кукольного театра!» – мы оба закрыли лица руками, увы, не от стыда.

Как видно из этого рассказа, отец ежедневно отсутствовал примерно с девяти утра до шести вечера. На это время дом принадлежал нам, с кухаркой и горничной мы то враждовали, то заключали союз. Все побуждало нас строить жизнь так, чтобы отгородиться от отца. Больше всего мы дорожили Индией и Зверландией, а для отца в них места не было.

Но мне не хотелось бы убеждать читателя, будто на каникулах мы бывали счастливы только без отца. Он радовался так же часто, как огорчался, и его милость была столь же неистощима, как и его гнев. Очень часто отец бывал для нас самым щедрым и снисходительным другом, он умел валять дурака вместе с нами и ничуть не вспоминал о своем достоинстве, «не важничал». Конечно, я не мог тогда по-взрослому оценить его общество, его юмор, для понимания которого требовалось известное знание жизни, я просто наслаждался хорошим настроением, словно хорошей погодой. Да что там, в любом случае каникулы наполнялись почти чувственным наслаждением «быть дома», роскошью, которую мы называли «приличной жизнью». Я только что упоминал «Все наоборот». Наверное, популярность этой книге обеспечило не только ее озорство – это единственная в мире правдивая книга о школе. Камень Гаруды окрасил в подлинные цвета то, что обычно кажется преувеличенным: муки мальчика, оторванного от теплого, уютного, достойного дома и брошенного в грязь, уродство и унижение школы. Я

говорю об этом в прошедшем времени, поскольку с тех пор цена дома, видимо, понизилась, а школы, кто их знает, могли стать получше.

Может быть, вам интересно, были ли у нас друзья, родственники, соседи? Были, конечно. Мы особенно обязаны одной семье, насколько обязаны, что лучше поговорить о ней отдельно.

III. МАУНТБРЭКЕН И КЭМПБЕЛЛ

*Ибо все эти прекрасные люди цвели
ранней юностью; не было никого счастливее
под небесами; их король был человек
благороднейшего духа. Трудно было бы сегодня
отыскать столь славное общество
в каком бы то ни было замке.*

«Сэр Гавейн и зеленый рыцарь»

Заговорив о родственниках, я вновь вспоминаю о той роли, которую сыграла в моем детстве столь очевидная разница между Льюисами и Гамильтонами. Эта разница начиналась уже с дедушки Льюиса, глухого, малоподвижного, бормочущего псалмы, вечно озабоченного своим здоровьем и твердящего, что недолго нам осталось его терпеть, и бабушки Гамильтон, резкой на язык, остроумной вдовы, вечно готовой спорить (к ужасу всех родных, она отстаивала самоуправление Ирландии). Бабушка была Уоррен с головы до пят, она презирала условности так, как их способны презирать только старые аристократы, и жила одна в огромной развалиюхе среди полусотни кошек. Как часто среди самой невинной болтовни она восклицала: «Вздор и чепуха!» Родись бабушка чуть позже, она бы, несомненно, примкнула к фабианцам. В отвлеченные рассуждения она врывалась, беспощадно требуя «придерживаться фактов», и настаивала на доказательствах, когда ей навязывали «общее мнение». Разумеется, ее считали эксцентричной. Такой же контраст я видел и между Льюисами и Гамильтонами следующего поколения. Старший брат отца, дядя Джой (у него было два сына и три дочери), жил неподалеку от нашего старого дома. Младший мальчик был моим первым другом, но позднее мы разошлись. Дядя Джой был и добр, и умен, и очень привязан ко мне, но я не в силах припомнить, о чем говорили старшие в этом доме – обычные взрослые разговоры о знакомых, о политике, о делах и здоровье. А вот дядя Гас (Огастес У. Гамильтон, брат моей мамы) разговаривал со мной как сверстник, он говорил о Вещах. Ясно, весело, без нелепых шуток и глупой снисходительности, он учил меня всем доступным мне наукам и получал от этого такое же удовольствие, как я. Благодаря ему я смог читать Уэллса. Правда, сам по себе, как личность, я едва ли был ему так

же дорог, как дяде Джою, но хоть это и несправедливо, меня это устраивало. Мы сосредотачивались не друг на друге, а на предмете беседы. Я уже говорил о жене, которую дядя Гас привез из Канады. В ней тоже было то, что я так любил, – ровная, неизменная приветливость без намека на аффектацию, надежный здравый смысл и ненавязчивая способность в любых обстоятельствах сохранять уют и веселье. Девиз Гамильтонов – забудем думать о том, чего нет, и извлечем все из того, что у нас есть. Ни она, ни ее муж не понимали страсти Льюисов бередить заживающие раны и гоняться за несбыточным.

У нас были и другие родственники, значившие для нас гораздо больше, чем все дяди и тети вместе взятые. В миле от нашего дома высился самый большой дом, какой я только видел в те годы (я назову его Маунтбрэ肯), и там жила семья баронета Э. Леди Э. была маминой кузиной и ближайшей подругой; в память мамы она самоотверженно пыталась приобщить к цивилизации нас с братом. На каникулах мы постоянно получали приглашение на обед, и только благодаря этому мы не превратились в дикарей. Обязаны мы не только леди Э. (кузине Мэри), но и всей семье: год за годом нас приглашали на прогулки и в автомобильные поездки (редчайшее удовольствие в те времена), на пикники и в театр. Наша неотесанность, шумливость, неаккуратность так и не смогли поколебать доброту кузины Мэри. Здесь мы чувствовали себя почти как дома, с одной существенной разницей: нужно было достойно себя вести. То немногое, что я знаю о приличиях и умении себя держать, я почерпнул в Маунтбрэкене.

Сэр У. (кузен Квартус) был старшим из братьев, совместно владевших большим заводом в Белфасте. Он принадлежал к сословию и поколению Форсайтов, но либо представлял собой исключение (что вполне возможно), либо Голсуорси жестоко несправедлив к подобным людям. Трудно вообразить себе человека менее похожего на Форсайтов. Он был добр, подетски весел, благочестив и смиренен, очень щедр к бедным. Перед теми, кто от него зависел, он постоянно чувствовал ответственность. Кузен казался веселым и мальчишески беззаботным, но даже тогда я чувствовал, что жизнь его подчинена долгу. Его высокая фигура и удивительно красивое лицо, обрамленное седой бородой, стали одним из прекраснейших воспоминаний моего детства. Вся семья была красива. Кузина Мэри с годами превратилась в красивую пожилую даму с серебряными волосами и мягким южноирландским выговором, который отличается от «ирландского

акцента» так же сильно, как речь шотландского горца от городского сленга Глазго. Три дочери, уже взрослые, были все-таки ближе к нам, чем остальные знакомые. Все трое были поразительно красивы: старшая, Х., была супротивной Юноной, черноволосой королевой, красой Иудеи. К. больше напоминала валькирию (все сестры были прекрасными наездницами). Она унаследовала отцовские черты, но в ее лице вспыхивало нечто подобное пылу и утонченности породистого коня, в минуты негодования тонкие ноздри раздувались великолепным презрением. В ней было то, что мужчины по своему тщеславию называют «мужской честностью», она была надежней любого мужчины. Младшая, Дж., была самой красивой, в ней все было совершенно – фигура, цвет лица, голос, каждый жест, – но кому дано описать красоту?! Только не думайте, что я был по-детски влюблен в нее. Бывает такая красота, что она открывается и не влюбленному, открывается даже равнодушному и объективному взгляду ребенка. (Первой женщиной, пробудившей во мне чувственность, была школьная учительница танцев, о которой я поговорю позже.)

Маунтбрэ肯 был кое в чем похож на наш дом. Здесь мы тоже находили кладовые, тихие комнаты и множество книг. В первые годы, пока мы еще не пообтесались, мы часто забывали о хозяевах и предавались самостоятельным исследованиям – тогда-то я и наткнулся на «Муравьев, пчел и ос». И тем не менее Маунтбрэ肯 значительно отличался от нашего дома: жизнь здесь текла свободнее и просторнее, плыла, точно баржа по реке, а наша вечно таращела, словно тачка по бульжникам.

Друзей-сверстников у нас не было. Отчасти это обычное следствие школьного воспитания – мы попросту не были знакомы с соседями; но гораздо больше мы обязаны своим одиночеством нашей угрюмой замкнутости. Один мальчик все время пытался подружиться с нами, а мы всячески избегали его. Каникулярная жизнь слишком коротка, она и так была переполнена чтением, сочинительством, играми, велосипедными прогулками, беседами и планами. «Третий лишний» вызывал у нас яростное неприятие. Кроме прекрасного и щедрого гостеприимства Маунтбрэкена, мы отвергали любое приглашение. Поскольку в дальнейшем разного рода приглашения сделались для нас подлинным бичом, я лучше скажу о них здесь, и покончим с этим. В те времена устраивали вечера с танцами; на них зачем-то приглашали и подростков: хозяевам так удобнее – и если дети хорошо знакомы друг с другом и не слишком застенчивы, они вполне могут повеселиться. Для меня званые вечера превратились в

пытку, и не только потому, что я смущался. Я терзался ложностью своего положения, которую прекрасно осознавал: я не по своей воле участвовал во взрослом развлечении, но относились ко мне, как к ребенку. Меня мучила полунасмешливая снисходительность старших, делавших вид, будто они и впрямь считают меня «большим». Прибавим неудобства итонского воротничка, туга накрахмаленной рубашки, тесных башмаков, головокружение и усталость от бодрствования в непривычно поздний час. Думаю, даже взрослым эти посиделки не показались бы увлекательными без вина и флирта; что же за удовольствие для мальчика, не умеющего еще ни пить, ни кокетничать, до утра полировать и без того блестящий паркет? Я ничего не понимал в общественных связях, не знал, что меня приглашают из вежливости, ради дружбы с отцом или в память матери. Мне все это казалось несправедливым и бессмысленным наказанием, в особенности когда приглашения сыпались в последнюю неделю каникул, вырывая огромный клок из немногих оставшихся нам золотых часов. Так бы и разорвал на части любезнейших хозяев! И чего они к нам привязались? Мы-то им ничего не сделали, мы не заставляли их ходить в гости к нам.

Муки мои усугублялись ложным представлением о своих обязанностях во время танцев. Я вел себя совершенно неестественно и, вероятно, весьма забавно. Я много читал и мало общался с детьми, поэтому к школьному возрасту у меня выработалась речь, звучавшая чрезвычайно смешно в устах пухлощекого мальчишки в итонской курточке. Я любил длинные слова, а взрослые, разумеется, считали, что я ими щеголяю. Вовсе нет, просто других слов я не знал. На самом деле, тщеславие требовало школьного жаргона, а не естественной для меня книжной лексики. Многие взрослые вовлекали меня в разговор, заманивали притворным интересом, притворной серьезностью, пока я внезапно не убеждался, что они надо мной смеются. Унижение казалось ужасным, и после двух-трех опытов я установил для себя твердое правило: на этих сборищах (как я про себя называл их) говорить только о том, что меня совершенно не интересует, и как можно примитивнее. Мне это удалось, даже слишком. Словно актер, я играл добровольно избранную роль, подражая самой пустой болтовне взрослых, под жалкой шутливостью и поддельным энтузиазмом скрывал подлинные чувства и интересы, страшно уставал от маски и со вздохом облегчения срывал ее в тот миг, когда мы с братом наконец усаживались в кэб, чтобы ехать домой. Это было единственное счастливое мгновение за

весь вечер. Прошли годы, прежде чем я понял, что в пестром обществе хорошо одетых людей тоже можно вести разумный разговор.

Как все-таки перепутаны в нашей жизни справедливые и несправедливые суждения! Нас винят за истинные недостатки, но замечают их совсем не тогда, когда они проявляются. Меня считали тщеславным – и справедливо, но упрекали в тщеславии как раз в тех случаях, в которых оно не играло ни малейшей роли. Взрослые часто говорят о детском тщеславии, не понимая, к чему именно применимо тщеславие детей вообще и конкретного ребенка в частности. Так, к моему изумлению, отец всегда утверждал, что мои жалобы на жесткое и колючее белье – чистое кокетство. Теперь я понимаю, что он имел в виду предрассудок, соединяющий нежную кожу и принадлежность к элите, и полагал, что я таким образом хочу показать свою утонченность. А я попросту не слыхал об этом предрассудке, и если бы прислушался к голосу тщеславия, то скорее стремился бы похвастать шкурой грубой, как у моряка. Словом, меня обвиняли в проступке, до которого я еще не дорос. То же самое произошло, когда я спросил, что такое «болтушка». Оказалось, так в просторечии именовался полушийкий пудинг. Взрослые решили, что я притворяюсь не ведающим «низкой» речи и тем самым претендую на изысканность. И опять же, я спросил только потому, что прежде не слышал этого слова, а если бы я знал, что оно «вульгарное», я бы предпочел употреблять именно его.

Итак, школа Старика затонула, никем не оплаканная, летом 1910. Вновь встал вопрос о моем образовании. На этот раз отец разработал план, который привел меня в восторг. В миле от Нового Дома высились кирпичные стены и башенки Кэмпбел-колледжа, основанного специально для того, чтобы предоставить жителям Ольстера хорошее образование без поездки в Англию. Мой умница-кузен, сын дяди Джоя, уже учился там, и весьма успешно. Решили, что я стану интерном, но с правом возвращаться домой по воскресеньям. Я был счастлив. Я считал, что ничто ирландское, даже школа, не может быть скверным, во всяком случае – настолько скверным, как в Англии. Итак, я отправился в Кэмпбел.

Я провел в этой школе слишком мало времени, чтобы подробно говорить о ней. Она ничуть не походила на те английские школы, о которых я позже слышал. В классах назначались префекты, но они не пользовались властью. По английскому образцу школу разделили на колледжи, но о них вспоминали, только разбивая школьников на команды для игры, а спорт не

был обязательным. Состав учеников был гораздо более «смешанным», чем допустимо в Англии; я учился бок о бок с сыновьями фермеров. Мой лучший приятель был сыном торговца, не так давно он разъезжал с отцовским фургоном, поскольку неграмотный водитель не умел вести счет. Я страшно завидовал ему, а он, бедняга, все вздыхал о тех временах. «Еще в прошлом месяце, — говорил он мне, — я не делал вечером уроков. Я возвращался домой с работы, для меня на стол стелили скатерть и кормили колбасками».

Как историк я могу только радоваться, что побывал в Кэмпбелле, поскольку он — точная копия английской школы до реформы Томаса Арнольда. Там происходили настоящие поединки на кулачках с секундантами и сотнями бившихся об заклад зрителей. Было и издевательство над новичками, правда, мне почти не доводилось с ним сталкиваться: жесткая иерархия, как в современной английской школе, здесь не сложилась, каждый завоевывал себе место кулаками или природной смекалкой. На мой взгляд, здесь имелся один существенный недостаток — отсутствие своего угла. Лишь немногие, самые старшие, получали отдельную комнату, а нам после ужина и домашней работы в специально отведенном классе было некуда деться. Все время, кроме занятий, мы проводили, либо вливаясь в толпу, либо пытаясь избежать тех непредсказуемых движений, когда людской поток то вытягивается, то сгущается, то замедляет шаг, то устремляется, подобно приливу, в одном направлении, распадается и образуется вновь. Пустынные кирпичные коридоры разносили эхом наш топот, вопли, визг, нелепый смех. Мы либо куда-то двигались, либо болтались — в кладовых, в уборных, в вестибюле. Все это смахивало на жизнь в зале ожидания.

Наши громилы, по крайней мере, отличались честностью, они не получали отпущение грехов от префектов, как в английской школе. Сбившись в стаи по восемь-десять парней, они подкарауливали жертву в лабиринте бесконечных коридоров. Их шумное нападение на фоне общего гама и крика, как правило, замечали слишком поздно. Иногда похищение кончалось для жертвы плохо, двух моих знакомых избили в каком-то закоулке, без всякой злобы — нападавшие даже не знали их в лицо — чистое искусство для искусства. Я попал в плен лишь однажды, моя участь оказалась несравненно благополучнее, и, пожалуй, об этом стоит поведать забавы ради. Меня на страшной скорости протащили по всем коридорам и переходам, и, придя в себя, я обнаружил, что нахожусь, в числе прочих

пленников, в заброшенной комнате с низким потолком, где горел один газовый светильник. Едва мы отдохнули, бандиты схватили первого пленника и подвели его к стене, вдоль которой примерно в метре от пола шли рядами трубы. Я встревожился (хотя и не удивился), когда мальчику велели нагнуться, уткнувшись головой в стену под нижней трубой, — сейчас будут портить. Но тут же удивился. В комнате, как вы помните, было почти темно. Двое бандитов дали мальчишке пинка, и он бесследно исчез. Это показалось мне жутким колдовством. Вывели новую жертву, тоже заставили согнуться, будто для порки, и вновь вместо порки — он исчез. Наступил мой черед, я получил свой пинок под зад и провалился через какую-то дыру или отдушину в стене прямиком в угольный погреб. За мной кувырком полетел еще один мальчик, дверь захлопнулась, и бандиты с радостными воплями помчались за новой добычей. Видимо, они спорили с соперниками и им предстояло сопоставить «трофеи». Вскоре нас выпустили, перемазанных, слегка напуганных, но в общем невредимых.

Самым важным событием в Кэмбеле для меня стало чтение «Зухры и Рустама» под руководством прекрасного учителя (мы его прозвали Окти). Я полюбил эту поэму «с первого взгляда» и сохранил это чувство навеки. Как в первой строке поэмы над рекой подымался влажный туман, так поднялась и окутала меня прозрачная, серебристая прохлада, блаженство величественной тишины и торжественной печали. Едва ли я переживал тогда так, как теперь, центральное, трагическое событие; скорее я видел художника, его белый лоб и бледные руки, кипарисы в королевском саду, воспоминания о юности Рустама, кабульских коробейников и покой хорезмской пустыни. Мэтью Арнольд подарил мне (и дарил мне с тех пор в лучших своих книгах) не бесстрастное созерцание, но напряженное, сосредоточенное вглядывание в даль. Вот она, подлинная судьба книги! Критики болтали, будто «Зухра» доступна лишь знатокам классики, лишь тем, кто способен уловить гомеровские аллюзии. Но мальчишка, внимавший тогда Окти, слыхом не слыхивал о Гомере. Для меня отношения Арнольда с Гомером выстраивались в обратном порядке: когда несколькими годами позже я взялся за «Илиаду», она понравилась мне, среди прочего, благодаря воспоминаниям о «Зухре». Словом, неважно, через какую дверь вы войдете в единую поэзию Европы. Болтай поменьше

и насторожи уши – и все что угодно приведет тебя к чему угодно – ogni parte ad ogni parte splende¹.

Посреди моего первого и последнего семестра в Кэмбеле я заболел, и меня отправили домой. Отец, не знаю почему, успел разочароваться в этой школе. Ему поправилась реклама подготовительной школы Виверна², хотя она не имела отношения к Вивернской гимназии; особенно удачным ему казалось, что, таким образом, мы с братом снова будем отправляться в путь и возвращаться вместе. Словом, я провел дома блаженные шесть недель, впереди маячило Рождество, а дальше – новые приключения. Сохранилось письмо, написанное отцом брату: он пишет, что я пока очень счастлив, но он опасается, «как бы мальчик не соскучился к концу недели». Даже странно, как мало он знал меня, хотя моя жизнь текла рядом. Эти недели я спал у него в комнате, спасаясь от одиночества в темноте – единственного одиночества, которого я боялся. Пока брат не приехал, не с кем было шалить, и мы с отцом ни разу не поссорились. Впервые моя любовь к нему цвела безмятежно, нам было хорошо вместе. Когда же отец уходил на работу, начиналось самое глубокое и прекрасное уединение. Пустой дом, пустые, тихие комнаты словно освежающим душем смывали с меня суету и шум Кэмбела. Я читал, писал, рисовал; именно тогда, а не в раннем детстве я с наслаждением окунулся в сказки. Меня очаровали гномы, древние карлики в колпачках с длинной седой бородой, каких мы знали, покуда Артур Рекхем не сделал этих подземных жителей возвышенными, а Уолт Дисней – примитивными. Видел я их отчетливо до галлюцинаций. Однажды, прогуливаясь по саду, я почти поверил, будто крошечный человечек перебежал мне дорогу. Я немного испугался, но это ничуть не напоминало ужасыочных кошмаров. Со страхом, охранявшим путь к эльфам и феям, я мог совладать. Даже трус не всего боится.

¹ «Чтоб каждой части часть своя сияла» (Данте. Ад. VII, 75. Пер. М. Лозинского). – Прим. ред.

² Речь идет о подготовительной школе «Шербур» (Cherbourg House) Малверн Колледжа (Malvern College), расположенного в городке Малверн, в графстве Вустершир. Далее автор называет «Шербур» – «Шартром» (Chartres), а Малверн – «Виверном» (Wyvern). – Прим. ред.

IV. МИР РАСШИРЯЕТСЯ

*И я воскликнул: «Хватит! Мы плывем.
Неужто вечно мне стенать и плакать?»¹*

Джордж Герберт

В январе 1911, когда мне исполнилось тринадцать, мы с братом вместе отправились в Виверн – он в колледж, я в подготовительную школу (назову ее Шартр). Так начался лучший период нашей школьной жизни, о котором мы чаще всего вспоминали, когда речь заходила о годах ученья. Основой и опорой каждого года стали совместные поездки в Виверн, расставание на конечной станции, радостная встреча на той же станции в конце семестра и вновь совместная поездка – домой. Мы становились старше и разрешали себе в этих поездках все больше. В первый раз, приплыв рано утром в Ливерпуль, мы тут же пересели на свой поезд; позже мы догадались, что гораздо приятнее провести день, бездельничая в гостинице, с журналами и сигаретами под боком, а вечером отправиться в Виверн и как раз поспеть к крайнему сроку. Еще позже мы отказались и от журналов; мы открыли, что в дорогу можно брать хорошие книги, удовольствие станет еще больше. Очень важно как можно раньше научиться читать хорошую книгу, где бы ты ни был. «Тамерлана» я впервые прочел во время поездки из Ларна в Белфаст под проливным дождем, а «Парацельса» – в окопе, при свете свечи, которая гасла каждый раз, когда неподалеку стреляла пушка, то есть каждые четыре минуты. Совсем праздничной была поездка домой. Тут у нас был неизменный план: ужин в ресторане – пиршество богов, затем – мюзик-холл и, наконец, – пристань, огромные прославленные корабли, наш корабль, отплытие, и знакомый, благословенный вкус соли на губах.

Курение было, конечно, «деянием скрытым и умышленным», как сказал бы отец, но мюзик-холл мы посещали с его разрешения. В этих вопросах он не был пуританином и часто по воскресеньям возил нас на белфастский «Ипподром». Правда, теперь я понимаю, что не разделял его любовь к водевилям, которую унаследовал брат. Мне казалось, что меня увлекает

¹ У Льюиса цитата из стихотворения «Ярмо» Джорджа Герберта длиннее. В переводе Дмитрия Щедровицкого: «Я громко стукнул кулаком: / Ну, все! Испил до дна! / Иль без конца мне суждено / Вздыхать? Нет, жизнь моя вольна, / Нет, вольным ветром я влеком!». – *Прим. ред.*

само зрелище, но я ошибался. Зрелище я забыл, и мысль о нем не пробуждает во мне ни малейшего волнения, ни благодарной памяти о пережитом удовольствии, но во мне до сих пор живы сочувствие и соуничение, которые я испытывал, если «номер» проваливался. Мне нравилось то, что сопутствует зрелищу, — шум и шорох, яркое освещение, сама идея праздника и хорошее настроение отца, а главное — поздний холодный ужин. Не только наша школьная жизнь переживала расцвет, но и домашняя кухня — то был век Анни Стрэгэн. Она делала такие пироги, о которых нынешние мальчишки не имеют ни малейшего понятия, да и тогда они удивили бы людей, привыкших к магазинным подделкам.

Шартр, высокое белое здание на горе, над зданием колледжа, был, по существу, совсем небольшой школой — всего-то двадцать интернов, но он в корне отличался от Белсена. Здесь вправду началось мое образование. Директор, по прозвищу Бочка, был умен и терпелив, под его руководством я скоро освоился с латынью и английской литературой и стал одним из кандидатов на стипендию в колледже. Кормили нас хорошо (мы, конечно, все равно ворчали) и хорошо смотрели за нами. У меня были отличные товарищи, хотя, конечно, мы переживали те вечные дружбы, непримиримую вражду, отчаянные схватки и обновленные союзы, которые столь важны в жизни мальчика; и эта жизнь то возносила меня на вершину, то сбрасывала на самое дно.

Виверн исцелил меня от нелюбви к Англии. Под нами простиралась огромная голубая равнина, за ней острые зеленые холмы, очертаниями подобные высоким горам, но такие маленькие и уютные. Все это доставляло мне удовольствие. Здание нашей школы было первым красивым зданием в моей жизни. Там я обрел первых подлинных друзей. Там случилось и важнейшее событие моей духовной жизни: я перестал быть христианином.

Не знаю точно, когда именно это случилось, во всяком случае, процесс начался после поступления в школу и завершился вскоре после ее окончания. Попробую изложить сознательные причины моего разрыва с верой и те неосознанные побуждения, о которых я теперь догадываюсь.

К сожалению, мне придется начать с мисс С., нашей воспитательницы, — я любил ее и буду говорить о ее ошибке так же бережно, как говорил бы о промахе, допущенном моей мамой. Она была прекрасной воспитательницей, заботливой и умелой во время наших болезней, веселой и дружелюбной участницей наших игр. Мы все любили ее, особенно я,

сирота. Но мисс С., которая мне казалась уже почти старой, была еще так молода, что не достигла духовной зрелости, она все еще искала истины со всею страстью чистой души. Проводников на этом пути тогда было еще меньше, чем сейчас. Она затерялась между теософами, розенкрайцерами и спиритами, заблудилась в лабиринте англо-американского оккультизма. Ей бы и в голову не пришло подрывать мою веру – она хотела только внести в комнату свечу, не ведая, что комната полна пороха. Никогда прежде не слыхал я о том, о чем она рассказывала; нигде, кроме сказки, не встречал иных существ, кроме Бога и человека. Я любил читать о видениях, иных мирах и неведомых формах жизни, но и не думал верить в это. Дети никогда не верят в то, что они воображают: я создал целый мир, но не верил в него именно потому, что сам его создал. И в чтении я никогда не подменял воображение верой. А тут я впервые узнал, что вокруг нас могут быть настоящие чудеса, что видимый мир – лишь занавес, скрывающий многие царства, о которых умалчивала моя кущая теология. Так родилась во мне страсть, доставившая мне много хлопот и огорчений, – страсть к сверхъестественному ради сверхъестественного. Не всем свойственна эта болезнь, но те, кто переболел ею, меня поймут. Я пытался описать ее в романе. Это род духовной похоти – как и телесная похоть, она уничтожает интерес ко всему на свете, кроме себя самой. Может быть, именно эта страсть, а не жажда власти обуревает колдунов. Кроме того, беседы с мисс С. постепенно, неосознанно расшатали здание моей веры, стерли все грани. Расплывчатая умозрительность оккультизма размывала четкие истины веры, и я с удовольствием это принимал. Все стало умозрительным, моя «вера» сменилась «общим ощущением», и мне это понравилось. Я забыл бессонные лунные ночи в Белсене. Тираническая мощь Откровения, этот солнечный знойный полдень сменился прохладным вечером Высшей Мысли. Здесь ничто не требовало ни веры, ни послушания – верь только в то, что тебя успокаивает или возбуждает. Я не виню в этом мисс С. Враг воспользовался тем, что она говорила в своей невинности.

Для Врага это было тем легче, что я, сам того не сознавая, давно уже отчаянно жаждал избавиться от своей веры. Дело в том, что из-за моей ошибки – по-моему, честной – молитва стала для меня тягостным бременем. Вот как это случилось. Еще в детстве мне говорили, что надо не просто повторять слова молитвы, но и вдумываться в ее смысл. Когда у Старика я обрел веру, я старался испытывать те чувства, о которых молитва говорит. Сперва все было просто. Потом заговорила «ложная

совесть», «мирской закон» апостола Павла, «болтун», по слову Герберта. Едва я произносил «аминь», «совесть» шептала: «А ты уверен, что ты в самом деле думал то, что говорил?» – и еще вкрадчивей: «А ты уверен, что у тебя получилось хотя бы так же хорошо, как вчера?» Я не знал, что побуждало меня отвечать на этот вопрос «нет». Тогда голос говорил: «Попробуй-ка еще раз»; и я вновь принимался молиться, без малейшей надежды, что на этот раз молитва мне удастся.

Наконец, я нашел выход – естественно, самый глупый. Я установил правило – не принимать ни одного слова, если оно не сопровождалось достаточной четкостью воображения и чувства. За ночь я должен был простым усилием воли добиться того, чего нельзя добиться одной силой воли, того, что я сам не мог определить, не мог понять, произошло оно или нет, а когда я все же добивался этого, духовная ценность его была очень невелика. Если б кто-нибудь вовремя повторил мне предупреждение Уолтера Хилтона – не добиваться силой того, что Господь не желает нам дать! Ночь за ночью, когда меня уже тошило от бессонницы, от отчаяния, я выкачивал из себя это «исполнение». Молитва все усложнялась. Я начинал с молитвы о «правильной молитве» на этот вечер, но была ли сама эта предварительная молитва «правильной»? Мне еще хватило ума отбросить этот вопрос, не то бы мне не удалось ни начать, ни кончить ночное бдение. Как хорошо я помню все это! Холодный линолеум, часы, отбивающие четверти, усталость, слабость, безнадежность. От этой муки я жаждал избавить и душу, и тело. Дошло до того, что я дрожал с наступлением вечера и час отбоя был мне страшен, как человеку, терзаемому хронической бессонницей. Кажется, я был близок к помешательству.

Эта тяжкая обязанность была, конечно, подсознательной причиной моего бегства от христианской веры, но вскоре появились и осознанные причины для сомнения. Одна причина пришла из чтения классиков – так, в Вергилии мы находили множество религиозных идей, но все педагоги и издатели считали эти идеи заведомо ложными, никто и не пытался показать, в чем христианство исполнило чаяния язычников, в чем язычество было предчувствием христианства. Выходило, что все веры – всего-навсего нагромождение вздора и только наша вера, как счастливое исключение, оказалась совершенной истиной. Забыли даже раннехристианское понимание язычества как бесопоклонства. С этим я бы еще как-нибудь согласился, но меня учили, что религия вообще оказалась

странным и ложным порождением человека, заразным заблуждением. Посреди тысячи таких религий – одна наша, тысяча первая, истинная. Почему я должен верить в такое исключение? Ведь в основе ее те же свойства, что и у других. Почему я должен относиться к ней иначе и должен ли я относиться к ней иначе, тем более что мне этого совсем не хотелось?

Кроме того, с не меньшей силой мою веру подрывал какой-то глубоко укорененный пессимизм – пессимизм разума, а не духа. Я не был тогда несчастен, но я усвоил определенный взгляд на этот мир и считал его, в сущности, ничтожным, плохо налаженным. Да, конечно, одним моим читателям смешон, другим – отвратителен избалованный и закормленный мальчишкой в итонском воротничке, который не одобряет мироздания. Читатели правы, только зря они сосредотачиваются на воротничке, забывая, что такое отрочество. Возраст на самом деле совсем не так важен. Почти все мыслящие люди нащупали свои главные идеи до четырнадцати лет. Что же касается моего пессимизма, читатель должен все-таки помнить, что хотя моя подростковая жизнь была благополучной, начиналась она с больших бед. Я даже думаю, что семена пессимизма проникли в мою душу еще до смерти мамы. Пусть это смешно, но здесь, кажется, сыграла свою роль моя неуклюжесть. Как это было? Я не говорил: «Раз я не могу как следует разрезать ножницами этот лист бумаги, значит, мир устроен плохо». Дети вообще не склонны к обобщениям, да и не так глупы. Не возникло у меня и комплекса неполноценности, поскольку я не сравнивал себя с другими и никто не знал о моих неудачах. Но я чувствовал немое и упорное сопротивление неодушевленной материи. Нет, это тоже звучит очень абстрактно и по-взрослому. Точнее, я попросту чувствовал, что все выйдет не так, как я хочу. Хочешь прямую линию – выйдет кривая, хочешь кривую – она распрямится, завязанный узел тут же развязется, а тот, что ты пытаешься распутать, только хуже запутается. Слова эти звучат смешно, и, пожалуй, мне самому теперь смешно вспоминать об этом, но именно ранние, ускользающие впечатления, нелепые со взрослой точки зрения, формируют основные склонности, привычное доверие или недоверие к миру.

И еще одно: хотя я был сыном преуспевающего человека (в наше стесненное налогами время та жизнь показалась бы неправдоподобно надежной и обустроенной), я с раннего детства постоянно слышал, что меня ждут бесконечная борьба и величайшее напряжение всех сил, чтобы

— в лучшем случае — избежать работного дома. Отец мой рисовал это будущее так живописно, что я всецело верил ему и даже не замечал, что все известные мне взрослые жили спокойно и благополучно. Итоги своей судьбы я подвел как-то в разговоре с другом в Шартре: «Семестр, каникулы, семестр, каникулы, а как кончим школу — работа, работа, работа, пока не умрем». Даже если бы не это заблуждение, я, наверное, все равно нашел бы основания для пессимизма. И в детском возрасте мировоззрение не определяется сиюминутным благополучием, даже мальчишка способен заметить пустыню вокруг себя, хотя он пока в оазисе. Мне было свойственно сострадание, хотя довольно пассивное. Самую сильную вспышку ненависти за всю жизнь я испытал, когда помощник учителя запретил мне подать милостыню нищему, пристроившемуся у ворот школы. Самое раннее мое чтение — и Уэллс, и Роберт Болл — укрепило во мне ощущение равнодушной бесконечности пространства и человеческой беспомощности. Вот почему мир казался мне неприветливым, даже угрожающим. Прежде чем я прочел Лукреция, я предчувствовал силу его довода в пользу атеизма, самого сильного из таких доводов:

Nequaquam nobis divinitus esse paratum
Naturam rerum; tanta stat praedita culpa¹

Как соединялся мой атеизм, это «отсутствие замысла», с оккультизмом? Кажется, мне так и не удалось увязать их логически. Я просто раскачивался от одного настроения к другому — зато оба они отвергали христианство. И так, мало-помалу — теперь мне уже не проследить все оттенки этого превращения — я отпал от Церкви, утратил веру и ощутил не утрату, но огромное облегчение.

Я пробыл в новой школе с весны 1911 до осени 1913, и внутри этих дат я не могу установить более точную хронологию своего отступничества. Это время делится в моей памяти на два периода, граница между ними — уход всеми любимого помощника учителя и еще более любимой наставницы. С этого дня все пошло прахом — ушло не внешнее довольство, а внутреннее падежное добро. Мисс С. принесла мне гораздо больше добра, чем зла. Пробудив мою нежность, она почти избавила меня от неприязни к «чувствам», укоренившимся в раннем детстве. И в ее «Высшей

¹ «Что не для нас и отнюдь не божественной создана волей / Эта природа вещей: столь много в ней всяких пороков» (Лукреций. О природе вещей. V, 198-199. Пер. Ф.А. Петровского). — Прим. ред.

Мысли», хоть ее воздействие и было так губительно, была подлинная бескорыстная духовность, которая сохранилась и пережила мои заблуждения. Но когда она ушла из школы, все доброе, что было в ее словах, померкло, а дурное осталось.

Еще очевидней был вред от смены учителя. «Парень», как мы прозвали прежнего, был прекрасен. Мудрый чудак, шумный, ребячливый, веселый, он держался с нами, словно ровесник, ничуть не теряя авторитета. От него шли токи такого отношения к жизни, какого мне особенно недоставало. Однажды мы соревновались в беге под мокрым снегом, и вот тогда-то я понял, что плохую погоду надо принимать как грубоватую шутку. Его сменил юный выпускник университета, назовем его Щеголем. Это была жалкая копия персонажей Саки или даже Будхауза. Остряк, знаток жизни и свой парень. Неделю мы колебались (только потому, что у него был очень переменчивый характер); потом мы пали к его ногам. Перед нами была блестящая мудрость века сего, и – подумать только – он готов был поделиться этой мудростью с нами!

Мы превращались в щеголей. Тогда носили галстуки с булавками, куртки с глубоким вырезом, высоко подтянутые брюки, из-под которых должны были виднеться носки, грубые башмаки с чудовищно толстыми шнурками. Кое-что ко мне уже пришло из колледжа, от брата, который как раз вошел в щегольской возраст. Щеголь довершил падение. Едва ли есть более жалкая страсть, чем эта, для четырнадцатилетнего увальня с шиллингом в неделю на карманные расходы, не говоря уж о моем врожденном свойстве – что бы я ни надевал, все выглядит на мне словно рутище. Не могу без содрогания вспомнить свои потуги закрепить брюки повыше и мерзкую манеру смазывать волосы растительным маслом. В мою жизнь вошла новая струя – пошлость. Я успел к тому времени совершить все доступные мне грехи и глупости, но еще не бывал жертвой безвкусицы.

Вся эта изысканная одежда была лишь частью новой мудрости. Щеголь слыл знатоком театра. Вскоре мы выучили все модные песенки. Вскоре мы узнали немало о модных актрисах – Лили Элси, Герти Миллар, Зене Даре. Он знал все об их личной жизни. От него мы услыхали и новейшие анекдоты; когда мы их не понимали, он с готовностью разъяснял. Он вообще много чего разъяснил нам. После семестра в его обществе нам показалось, что мы состарились не на двенадцать недель, а на двенадцать лет.

Как было бы приятно и поучительно, если б все мои ошибки я мог приписать его влиянию и вывести мораль: сколько вреда причиняет мальчишеским душам болтовня распущенного молодого человека! Увы, это было бы ложью. Да, именно в то время я впервые испытал все муки плотского искушения. Причиной тому был возраст и намеренный отказ от помощи Бога. Щеголь тут не виноват. Сами подробности полового акта я узнал много лет назад от сверстника и был тогда слишком мал, чтобы почувствовать к ним какой-либо интерес, кроме чисто научного. Не плоть пробудил во мне Щеголь (ее я пробудил сам), а интерес к миру, жажду блеска, особенности славы, стремление «быть в курсе». Не он разрушил мою невинность, но он лишил меня остатков смирения, детскости, самоотверженности, пробудил тщеславный интерес к самому себе. Я изо всех сил превращался в глупца и хама – в сноба.

Общение с Щеголем развратило мой разум, но гораздо сильнее на меня подействовала учительница танцев и «Харикл» Беккера, который я получил в награду за прилежание. Учительница танцев была совсем не так красива, как моя кузина Дж., но оказалась первой женщиной, на которую я «смотрел с вожделением», хотя она, конечно, тут не при чем. Любой ее жест, любая интонация могла сыграть роковую роль. В конце зимнего семестра класс украшали для праздничного бала. Она подняла флаг, прижала его к лицу, произнесла: «Как приятно пахнет» – и я пал.

Это не было влюбленностью. В следующей главе я расскажу о своей подлинно романтической страсти. Учительница танцев пробуждала во мне только плотский голод, то была проза, а не поэзия плоти. Я смотрел на нее не как рыцарь на недоступную даму, а как турок на черкешенку, которая ему не по карману. Я очень хорошо знал, чего хочу. Говорят, что в таких случаях мальчики чувствуют себя виноватыми. Я себя виноватым не чувствовал. Мне в то время едва ли была знакома вина за грех помышления, не нарушающий «закона чести» и не приводящий к чему-то, что пробудило бы во мне жалость. Я так же долго учился соблюдать этические запреты, как иные люди учатся их нарушать. Вот почему мне сложно жить в этом мире – мне, обращенному язычнику среди отступников-пуритан.

Не будем строго судить Щеголя. Теперь-то я понимаю, что он просто был слишком молод, чтобы возиться с мальчишками. Он сам был еще подростком, настолько незрелым, что хвалился своей «взрослостью»; настолько наивным, что радовался нашей наивности. К тому же он был

очень дружелюбен, и это побуждало его делиться с нами всем, что он знал. И на этом простимся с ним, как сказал бы Геродот.

Одновременно с потерей веры, невинности и простоты во мне происходило и нечто совершенно иное. Об этом я расскажу в следующей главе.

V. ВОЗРОЖДЕНИЕ

*Итак, в нас заключен мир любви
к чему-то иному, хотя мы понятия не имеем,
к чему именно.*

Томас Траерн

В исторический Ренессанс я почти не верю. Чем больше я вчитываюсь в историю, тем меньше нахожу там следов некоей восторженной весны, охватившей Европу в пятнадцатом столетии. Полагаю, что энтузиазм историков имеет особые корни: каждый из них вспоминает и приносит в историю свое личное Возрождение, изумительное пробуждение на границе отрочества. Это именно возрождение, а не рождение, повторное пробуждение, а не бодрствование; хотя это нечто новое для нас, оно всегда было — мы вновь открываем то, что знали в раннем детстве и утратили подростками. Подростки живут в темных веках — не в раннем средневековье, а в темных веках дешевых романов. Есть много общего в мечтах раннего детства и отрочества, но между ними, словно ничейная земля, простирается возраст мальчишества — жадный, жестокий, громогласный, скучный, когда воображение спит, а пробуждаются и почти маниакально обостряются самые низменные чувства и побуждения.

Так было и со мной. Детство осветило всю мою жизнь, только этот промежуточный период выпадает из цельной повести. Многие детские книги радуют меня и сегодня, но только под дулом пистолета я соглашусь перечитать то, что поглощал в школе у Старика или в Кэмпбелле. Пустыня, сплошная занесенная песком пустыня. Подлинная Радость, о которой я говорил в начале книги, ушла из моей жизни, ушла совсем, не оставив ни памяти о себе, ни тоски. «Зухра» не принесла мне Радости. Радость отличается от всех удовольствий, в том числе и от эстетического. Радость пронзает, Радость приносит боль, Радость дарует тоску неисцелимую.

Эта долгая зима растаяла в одно мгновение, когда я еще был в Шартре. Образ весны здесь необходим, но произошло это не постепенно, как весна в природе. Словно вся Арктика, словно огромный ледовый материк, тысячелетний лед растаял в одно мгновение, и в то же мгновение проросла трава, распустился подснежник, расцвели сады, оглушенные пением птиц, взбудороженные током освобожденных вод. Я могу совершенно точно

рассказать, как это случилось, хотя не помню самой даты. Кто-то забыл в школе газету – «Букмен» или литературное приложение к «Таймс», – я небрежно глянул на заголовок статьи, на картинку под ним, и в тот же миг «небеса опрокинулись».

Я прочел: «Зигфрид и Сумерки Богов». Я увидел одну из иллюстраций Артура Рекхема. До тех пор пока я не слыхал ни о Вагнере, ни о Зигфриде, Сумерки богов означали для меня сумерки, в которых жили боги. Но я знал, что это не кельтский, не лесной, вообще не земной сумрак. Я сразу ощутил его «северность», я увидел огромное ясное пространство, дальние пределы Атлантики, сумрачное северное лето, далекое суровое небо и тут же я вспомнил, что уже знал это давно-давно, я вспомнил «Драпу» Тегнера и понял, что Зигфрид, кто бы он ни был, пришел из того же мира, что Бальдр и летящие к солнцу журавли. Я опрокинулся в собственное прошлое, и сердце мое пронзило воспоминание о той Радости, которую я знал, которой на многие годы лишился. Теперь я возвращался в собственную страну из изгнания и пустыни, и Сумерки Богов и моя прежняя Радость, равно недостижимые, слились в единое невыносимое Желание и чувство утраты, которая тут же преобразилась в утрату самого этого переживания – едва я успел окунуть взглядом пыльный школьный класс, словно человек, приходящий в себя после обморока, в тот самый миг, когда я готов был сказать: «Вот оно!», – все закончилось. И вновь я обреченно понял, что это – единственное, чего стоит желать.

Дальше все ложилось одно к одному. Отец еще раньше подарил нам граммофон. К тому времени, как я прочел слова «Зигфрид и Сумерки Богов», я был уже хорошо знаком с каталогами граммофонных записей, но не догадывался, что записи Гранд Опера, эти причудливые немецкие и итальянские названия, так важны для меня; и потом еще целую неделю не догадывался об этом. А потом снова получил весточку, уже другим путем. В журнале «Саундбокс» еженедельно печатали либретто великих опер и как раз тогда принялись за «Кольцо Нibelунгов». Я читал с упоением – теперь я узнал, кто такой Зигфрид и что такое Сумерки Богов, и не удержался – сам начал писать поэму, героическую поэму по Вагнеру. Единственным образцом были отрывки, опубликованные в «Саундбоксе», и я, по неведению, читал не «Альберих», а «Олбрич»; не «Миме», а «Майм». Образцом для меня послужила «Одиссея» в переложении Поупа, и поэма начиналась с призыва к Музам (как видите, у меня смешались различные мифологии):

Сойдите на землю, о девять небесных сестер,
Чтобы старые Рейна легенды достойно воспеть!

Четвертая песнь поэмы кончалась сценой из «Золота Рейна», и ничего удивительного, что этот эпос не был завершен. Но я не зря тратил время – я точно могу сказать, какую пользу принесла мне эта поэма и когда именно. Первые три ее песни (спустя столько лет я могу говорить об этом без ложной скромности) были очень неплохи для школьника. В начале четвертой песни, которую я не сумел закончить, все рассыпалось – именно в ту минуту, когда мне захотелось по-настоящему писать стихи. Покуда мне было достаточно не сбиваться с ритма, подбирать рифму да следовать своему сюжету, все шло хорошо. В начале четвертой песни я попытался передать свой, внутренний смысл событий; я начал искать не очевидные, но таинственные слова. И потерпел поражение, утратив ясность прозы; сился, задохнулся, смолк – но узнал, каково писать стихи.

Все это происходило до того, как я впервые услышал музыку Вагнера, хотя даже буквы его имени казались мне тогда магическим символом. «Полет Валькирий» я впервые услышал в граммофонной записи в темном, тесном магазинчике покойного Идена Осборна. Сегодня над «Полетом» посмеиваются – действительно, вне контекста, как отдельный концертный номер, он может и не произвести впечатления. Но я ощущал единство Вагнера, и «Валькирии» были для меня не «номером», а частью героического действия. До сей поры мои познания о хорошей музыке сводились к творчеству Салливана. Теперь, когда я до безумия увлекся «Севером», «Полет» буквально потряс меня. С этой минуты все мои карманные деньги шли на пластинки Вагнера (прежде всего, конечно, «Кольцо», но и «Парсифаль», и «Лоэнгрин»); их же я выпрашивал себе в подарок. При этом мои знания о музыке как бы не изменились. «Музыка» и «музыка Вагнера» были совершенно разными понятиями, несопоставимыми; Вагнер был не новым удовольствием, но иным родом удовольствия, если можно назвать «удовольствием» ту тревогу, тот восторг и изумление, ту «битву безымянных чувств».

Тем летом кузина Дж. (вы ведь помните старшую дочь кузена Квартуса, темноокую Юнону, царицу Олимпа, – к этому времени она уже вышла замуж) пригласила нас на несколько недель на загородную дачу возле Дублина, в Дандрэме. Там, на ее столике в гостиной, я нашел книгу, с

которой все началось и которую я и не надеялся увидеть, – «Зигфрид и Сумерки Богов» Артура Рекхема. Его картины показались мне воплотившейся музыкой, и восторг мой дошел до предела. Мало о чем в жизни я мечтал так, как об этой книге, и, когда я узнал, что есть дешевое издание (15 шиллингов – для меня сумма почти невероятная), я понял, что не узнаю покоя, пока его не получу. И я получил его благодаря брату, который вошел со мной в долю – только по своей доброте, как я уже догадывался, ведь для него Север ничего не значил. Даже тогда мне было почти стыдно принять ту щедрость, с какой он отдал на ненужную ему книжку с картинками семь с половиной шиллингов, – а ведь сколько иных соблазнов у него было!

Хотя эта история может показаться вам неоправданно затянутой, вся моя книга окажется ненужной, если я не скажу сейчас о некоторых последствиях того увлечения.

Прежде всего, вы должны понять, что в то время Асгард и Валькирии значили для меня действительно больше, чем все остальное – чем мисс С., и учительница танцев, и возможность получить университетскую стипендию. Надеюсь, вас не шокирует такое признание, но они значили для меня гораздо больше, чем мои отношения с христианством. Конечно, ставить «Полет» выше христианства – греховное заблуждение, и все же я должен сказать, что «Север» казался мне важнее христианства потому, что в нем было именно то, чего не хватало моей вере. Сам по себе он не был религией – в нем не было ни догм, ни обязательств. Но в нем было поистине религиозное поклонение, бескорыстная и самоотверженная любовь к чему-то, а не за что-то. Нас учили «воздавать хвалу Господу за величие Его», словно мы должны благодарить Его прежде всего за само Его бытие и сущность, а не за те блага, которые Он даровал нам, – и ведь так оно и есть, к этому знанию о Боге мы приходим. Такого опыта у меня не было, но я гораздо ближе подошел к нему в моих отношениях с северными богами, в которых я не верил, чем в отношениях с истинным Богом, когда я верил в Него. Может быть, для того и нужен был этот путь к ложным богам, чтобы у них научиться любви к тому дню, когда истинный Бог вновь призовет меня к Себе. Конечно, я научился бы этому и раньше и лучше на том пути, который остался мне неведом, если б не мое заблуждение и отступничество. Я только хочу сказать, что в наказании, посланном нам Богом, таится милость, из каждого зла созидается особое благо, и греховное заблуждение тоже приносит пользу.

Возрожденное воображение вскоре подарило мне новое чувство природы. Сперва это было чистым пластиком из книг и музыки. Летом в Дандрэме, катаясь на велосипеде по Виклоуским холмам, я почти бессознательно искал вагнерианский пейзаж: пологий, поросший елями холм, где Мим мог встретить Зиглинда; солнечную поляну, где Зигфрид мог слушать пение птиц; ущелье, со дна которого поднимается гибкое змеиное тело Фафнира. Позже (не помню, как скоро) природа перестала быть просто служанкой литературы, она сама стала источником Радости. При этом, конечно, она оставалась напоминанием и воспоминанием – подлинная Радость и есть напоминание. Она – не обладание, она лишь мечта о чем-то, что сейчас слишком далеко во времени или в пространстве, что уже было или еще только будет. Теперь природа стала не воспоминанием о книгах, а сама по себе, напрямую, воспоминанием Радости. «Истинной» любви к природе, интереса ботаника или орнитолога, у меня не было и в помине. Меня интересовало ее настроение, ее смысл – я впитывал его не только глазами, но и обонянием, и всей кожей.

После Вагнера я принялся за все, что мог добыть о скандинавской мифологии: за «Мифы норвежцев», «Мифы и легенды древних германцев», «Северные древности» Маллета. Впервые меня привлекло знание. Вновь и вновь я обретал в этих книгах Радость. Я еще не замечал, как эта Радость становится все реже. Я не замечал разницы между ней и чисто интеллектуальным удовлетворением, когда воссоздавал мироздание «Эдды». Если б кто-нибудь согласился учить меня древненорвежскому, я бы, несомненно, стал прилежным учеником.

Произошедшие во мне изменения только усложняют мою задачу как автора этой книги. С этой минуты в классной комнате Шартра моя внутренняя скрытая жизнь становится столь важной и в то же время столь отличной от жизни наружной, что я почти вынужден рассказывать сразу два сюжета. Внутренняя жизнь – духовная пустыня и тоска по Радости, внешняя – шум, веселье, успехи; или наоборот – обычная жизнь полна неприятностей, внутренняя – сияющей Радости. Под внутренней жизнью я имею в виду только Радость, относя к «внешней» и то, что часто называют тоже внутренней жизнью, – большую часть чтения и все переживания, связанные с чувством пола или тщеславием, поскольку они сосредоточены на себе. С этой точки зрения даже Страна Зверей и Индия – внешнее.

Правда, их уже не было – в конце восемнадцатого столетия (конечно, их летоисчисления) они объединились в государство Боксен (производное

прилагательное, как ни странно, не «боксенский», а «боксонский»). Они были достаточно мудры, чтобы сохранить обе королевские династии, но создали общее законодательное собрание. Выборы были вполне демократические, по это имело гораздо меньше значения, чем, скажем, в Англии, поскольку собрание это собиралось то там, то сям. Оба короля созывали его то в рыбачьем поселке (у подножья северных гор Зеркалии), то на острове Писсия, и поскольку приближенные короля узнавали место очередного сбора заранее, они и занимали все места, прежде чем какие-либо сведения доходили до независимого депутата, а если б такому депутату и удалось попасть туда, совет мог сняться с места прежде, чем он примет в нем участие. Осталось предание об одном члене совета, который заседал в нем лишь раз – когда, на его счастье, собрание назначили в его родном городе. Хотя собрание это и называли иногда парламентом, такое название не совсем точно – там только одна палата и председательствуют оба короля. Правда, в тот период, который я специально изучал, реальная власть сосредотачивалась не в их руках, а в руках некоего Малла (от слова «маленький»). Он был премьер-министром, главным судьей и не то главнокомандующим, не то, по крайней мере, членом генерального штаба (тут данные расходятся). Во всяком случае, когда я последний раз был в Боксene, он обладал всеми перечисленными полномочиями. Возможно, кое-что он попросту захватил, поскольку это существо – конкретней, лягушка – было честолюбиво и умело добиваться своего. Лорд Крупн воспользовался – не слишком честно – тем преимуществом, что он был опекуном обоих молодых королей, и, когда они достигли совершеннолетия, сохранил за собой нечто вроде отцовского авторитета. Они порой пытались освободиться от него, но не столько в политике, сколько в своих развлечениях. Словом, лорд Крупн, огромный, громогласный, удалой (он вечно дрался на дуэли), красноречивый, напористый, неутомимый, можно сказать, воплощал собой государство. Кажется, между его отношениями с юными принцами и нашими отношениями с отцом есть некоторое сходство. Но, конечно, он не был нашим отцом, осмеянным – или ославленным – в образе жабы. С тем же успехом нашего лорда можно принять за прореческий портрет Уинстона Черчилля времен Второй мировой войны: мне попадались фотографии этого государственного деятеля, на которых сходство очевидно для каждого, кто знаком с обитателями Боксена. На этом наше пророчество не кончилось – был у нас и наиболее упорный противник лорда Крупна, вечно досаждавший ему лейтенант флота,

маленький медведь; хотите верьте, хотите нет, по он оказался очень похож на Джона Бетжимена, которого я в те годы, конечно, не знал.

Занятно, что сходство между лордом Крупном и нашим отцом и вообще сходство с окружающим нас миром появилось не в начале, а в конце истории Боксена. Чем дальше, тем больше становилось это сходство, оно — признак избыточной зрелости или даже упадка. В ранней истории его нет. Два монарха, подчинившиеся влиянию лорда Крупна, звались Вениамин VIII, король Зверей, и раджа по имени Соккол (кажется, VI), повелитель Индии. Они действительно похожи на нас с братом. Но в их отцах, Вениамина VII и Ястребе Старшем, нет ничего общего с нами. Соккол V не совсем ясен, а Вениамин VII (кролик, естественно) мне хорошо известен. Большеголовый, с тяжелой челюстью, широкоплечий, под старость — очень тучный, он одевался совершенно неподобающим монарху образом — в старый коричневый плащ, старые брюки, растянутые до пузырей на коленях. И все же в нем было подлинное достоинство, иногда проявляющееся довольно неожиданно. В юности он пытался соединить ремесло короля с работой детектива-любителя. Профессия сыщика ему не далась, тем более что главный преступник, которого он вечно выслеживал (мистер Бэддлсмир), оказался не преступником, а просто сумасшедшим, — хотел бы я знать, удалось бы справиться со столь сложным случаем самому Шерлоку Холмсу. Зато его часто похищали, и весь двор (кроме разве Соккола V) бывал в страшном волнении. Однажды, когда он вернулся, приближенные его не узнали — Бэддлсмир выкрасил его, и вместо коричневого кролика перед придворными предстал пегий. Наконец, вынужден сказать, он проводил какие-то эксперименты по искусенному осеменению (до чего только юнцы не додумаются!). Беспристрастный историк не назовет его ни добрым кроликом, ни добрым королем, но и ничтожеством его назвать никак нельзя. К тому же у него был завидный аппетит.

Стоило приоткрыть эту дверь, как явились все боксонианцы, словно гомеровские призраки, требуя, чтобы я упомянул и их. И все же придется им отказать. Те читатели, которые строили в детстве свой мир, предпочтут рассказать о нем; тем же, кто этого не пережил, мой рассказ давно наскучил. К тому же Боксен не имеет ничего общего с Радостью. Я говорю о нем только для того, чтобы достаточно полно и верно показать эту пору моей жизни.

Должен еще раз предупредить, что вся моя история так или иначе связана с воображением. Его ни в коем случае нельзя смешивать с верой, оно никогда не подменяло действительность. Любовь к Северу тоже не была верой – она была желанием, тоской, она сама по себе говорила об отсутствии, о недостижимости объекта этой любви. А в Боксен мы верить не могли, потому что сами его создали, – не поклоняется же писатель своим персонажам.

Летом 1913 года я получил право на стипендию по классическим языкам в Виверне.

VI. ЭЛИТА

*Куда угодно, лишь бы мне не слышать,
что ты нашептываешь...*

Джон Уэбстер¹

Поскольку с Шартром уже покончено, мы можем называть Вивернский колледж Виверном или попросту Колледжем, как именовали его сами студенты.

Поступление в Колледж стало величайшим событием моей «внешней жизни». В Шартре мы жили под сенью Колледжа. Нас водили на Виверские матчи и соревнования в беге. Колледж кружил нам головы. Эти толпы старших мальчиков, их «всезнающий» тон, подслушанные обрывки эзотерических бесед – все это было для нас словно балы для барышни былых времен, которой предстоит на следующий год выйти в свет. Вся власть, блеск и слава мира воплотились в обожаемых атлетах, префектах класса. Вся школа превратилась в языческий храм, где поклонялись этим смертным кумирам, и я был готов стать самым ревностным их почитателем.

На случай, если вы не учились в школе, подобной Виверну, я должен объяснить, кто такие эти кумиры. Это – школьная аристократия. Она не имеет ничего общего с положением мальчиков во «взрослом» мире. Эта верхушка вовсе не состоит из богатых или знатных юнцов; единственный лорд, который учился в Виверне на моей памяти, в нее не попал. Незадолго до моего поступления в элиту входил – или почти входил – сын какого-то в высшей степени подозрительного субъекта. Прежде всего, необходимо было достаточно долго проучиться в колледже. Сам по себе большой стаж еще не вводил вас в элиту, но новичок заведомо из нее исключался. Больше всего ценились спортивные успехи. Лучшие спортсмены входили в избранный круг автоматически. Среднему спортсмену требовалась хорошая наружность и умение держать себя. Нужно было знать «манеры», те манеры, которые ценились именно в этом колледже. Смышленый претендент должен был правильно одеваться, говорить на принятом в этом кругу жаргоне, любить то, что положено, и знать, над какими шутками следует смеяться. Разумеется, как и во

¹ В переводе – «Джордж Герберт», но это ошибка. – Прим. ред.

взрослом мире, тот, кто находится на подступах к «элите» и жаждет в нее проникнуть, может проложить себе путь угодничеством.

В некоторых школах, насколько мне известно, царит двоевластие. Аристократия, пользующаяся народным сочувствием, противостоит официальной бюрократии назначенных учителями префектов. Повидимому, префектов назначают из числа старшеклассников, так что сохраняется некоторый образовательный ценз. В нашем колледже дела обстояли иначе – почти все префекты были «элитой». Они могли учиться в любом классе, так что теоретически (хотя этого, конечно же, никогда не бывало) турицу-новичка из младшего класса могли избрать главой Колледжа. Тем самым, у нас сложился лишь один правящий класс, пользовавшийся всей полнотой прав, престижа и привилегий. Официальная поддержка учителей возвышала как раз тех, кого и так бы вознесло на пьедестал обожание младшеклассников, или тех, кому при любой системе проложили бы путь их собственные честолюбие и настойчивость. Принадлежность к «элите» подчеркивалась специальными льготами, привилегиями, манерой одеваться – словом, отличиями, которые проявлялись во всех сторонах школьной жизни. Но еще более положение элиты укреплялось тем фактором, который отличает школьную систему от обычной жизни. В стране, управляемой олигархией, слишком много людей, в том числе – активных и честолюбивых, знают, что им никогда не суждено пробиться в правящий слой, а потому революция может показаться им заманчивой. В Колледже самым угнетенным классом были новички, слишком юные и слабые, чтобы мечтать о бунте. Посредине школьной жизни те ребята, у которых хватило бы физических сил и популярности, чтобы затеять переворот, начинали сами надеяться, что в скором времени они войдут в элиту. Они могли быстрей и надежней совершить восхождение по социальной лестнице, обхаживая «самых-самых», нежели решившись на мятеж, который, даже в случае успеха, уничтожил бы как раз ту награду, которой они добивались. Если же пребывание в колледже подходило к концу, а честолюбец так и не достиг желанного положения, на перемены уже и времени не оставалось. В итоге государственное устройство Виверна было непоколебимо. Мы часто слышим о восстаниях против учителей, но школьеры не подымаются против своей элиты.

Вот почему с первых дней пребывания в Колледже я готов был поклоняться этим кумирам. Какую «взрослую» аристократию обожествляли так, как элиту престижной школы? Когда новичок видит

одного из «самых-самых», он переживает разом все виды преклонения, склоняясь перед ним, как мальчишка перед юношой, как страстный поклонник перед кинозвездой, как простолюдинка перед герцогиней, как новичок перед завсегдатаем (прибавьте сюда страх уличного мальчишки перед полицией).

Невозможно забыть первые дни в Колледже. Это было высокое узкое здание, единственный красивый дом во всей округе, немного похожий на корабль. Нашу палубу составляли два длинных темных коридора, сходившихся под прямым углом. Двери из коридоров открывались в «кабинеты» – маленькие комнаты, рассчитанные на двух-трех мальчиков. Как они нравились мне после Подготовительной школы, где ни у кого не было своего угла! Поскольку еще держалась мода Эдуарда VII, кабинетам придавали вид битком набитой гостиной – сюда запихивали больше книжных полок, столиков, тумбочек и картин, чем могла вместить такая комнатка. На нашем этаже было и два больших класса – один для «Президента», школьный Олимп, другой для новичков. «Кабинет новичков» не был настоящим кабинетом, он был слишком большим и темным, никакой лишней мебели, только стол и вокруг него ряд закрепленных скамеек. Нас было человек десять-двенадцать, мы знали, что не всех оставят в этом классе – одних сразу распределят по «настоящим кабинетам», остальные пробудут здесь ближайший семестр. Весь первый вечер мы провели в напряженном ожидании: кого изберут, кого оставят здесь.

Мы сидели вокруг стола, похожего на верстак, молчали, если разговаривали, то шепотом. Иногда дверь приоткрывалась, заглядывали мальчики постарше, усмехались (не нам, а себе) и исчезали. Один раз над плечом ухмыляющегося возникло еще одно лицо, и ехидный голос произнес: «Хо-хо! Знаю, знаю, что ты высматриваешь!» Только я понимал, к чему все это, – брат вовремя меня просветил. Никто из заглядывавших к нам и ухмылявшихся ребят не принадлежал к эlite, все они были слишком юны, и что-то общее мерещилось в выражении их лиц. Нынешние или былие «шлюшки» пытались угадать, кто из нас займет их место.

Может быть, вы не знаете, что такое «шлюшка». Во-первых, надо знать, что Виверн состоял как бы из концентрических кругов: Колледж и отделение. Одно дело быть первым в Колледже, другое – всего-навсего в отделении. Есть элита Колледжа и малая элита отделений; есть избранные

в отделениях и есть гонимые всем Колледжем. И, наконец, есть «шлюшки» в отделениях и есть признанные всем Колледжем.

«Шлюшки» – это миловидные, женственные мальчики из младших классов, которых используют старшеклассники, чаще всего – из элиты¹. Правда, не только из элиты – хотя та и оставляла за собой большую часть прав, в этом вопросе она была либеральна и не требовала от подчиненных еще и верности. Педерастия для среднего класса не считалась грехом, во всяком случае, столь серьезным, как привычка засовывать руки в карманы или не застегивать куртку. Наши земные боги умели соблюдать меру.

Если говорить о подготовке к жизни в обществе (а именно эту функцию брал на себя Колледж), «шлюшки», конечно, были необходимы. Они вовсе не были рабами – их благосклонности добивались, но почти никогда не вынуждали ее силой. Далеко не всегда они были развратны – такие отношения могли стать длительными, постоянными, и чувство нередко брало в них верх над чувственностью. Никто им не платил – во всяком случае, деньгами, зато на их долю выпадала вся лесть, все тайное влияние и негласные привилегии, которыми во взрослом обществе пользуются любовницы высокопоставленных особ. В этом смысле они, в числе прочего, готовили нас к мирской жизни. Арнольд Ланн в своей книге о Харроу утверждает, что в его школе «шлюшки» были заодно и ябедами. Наши не были, я знаю это наверное, поскольку один из моих друзей жил в комнате со «шлюшкой», и единственным неудобством была необходимость выходить из комнаты всякий раз, как заглянет кто-нибудь из друзей. Честно говоря, меня это не шокировало, мне это просто надоедало. Всю неделю школа шумела, свистела, шипела, шептала – и все только об этом. После спорта то был главный предмет светских разговоров: кто с кем, кто из новеньких, у кого чья фотография, где, когда, как часто, днем или ночью... Можно счесть это эллинской традицией. Именно этот порок никогда меня не привлекал и даже не пробуждал моего воображения – я до сих пор не очень себе это представляю. Может быть, если б я остался в школе надолго, из меня сделали бы Нормального Мальчика. Но пока что я просто скучал.

Первые дни мы провели так же, как и новобранцы в армии, в отчаянных попытках понять, что мы должны делать и как себя вести. Мне следовало выяснить, в какой «клуб» я записан. Нас делили на клубы для подготовки

¹ Здесь, как и во всем описании Колледжа, я употребляю настоящее время, имея в виду прошлое. Очень может быть, что сейчас все иначе.

к внутришкольным соревнованиям. Организация охватывала не только отделение, но и весь Колледж, поэтому надо было посмотреть название своего клуба на доске в главном здании, а раньше разузнать, где эта доска, протиснуться через толпу старших мальчиков, найти себя в списке из пятисот человек, и все это за десять минут перемены, непрерывно поглядывая на часы. Я не успел отыскать свою фамилию и бежал в класс бегом, гадая в тревоге, успею ли выяснить название клуба завтра, а если нет – какое неслыханное наказание обрушится на мою голову. Почему писатели так любят говорить, что тревоги и заботы – удел взрослых? На долю подростка выпадает куда больше мрачных тревог за неделю, чем взрослому достается за год.

Когда я вбегал в наше отделение, привалило нежданное счастье. Возле «Сената» стоял некий Фрибл, длинный, тощий, улыбчивый юнец. Он принадлежал к элите, правда, к элите отделения, да и там болтался в самом низу, но для меня это был человек известный и важный. Я едва поверил своим ушам, когда он окликнул меня: «Эй, Льюис! Я знаю, в каком ты клубе. Б6, как и я». В одно мгновение отчаяние сменилось восторгом. Кончились мои заботы. И как благороден Фрибл, как снисходителен ко мне! Если б меня пригласили на ужин к королю, я и то не был бы так польщен. Дальше все пошло как нельзя лучше. Все выходные я аккуратно проверял объявления на доске своего клуба, но моя фамилия ни разу не появлялась в списке игравшей в те дни команды. Я был счастлив – я терпеть не могу спортивные игры. Моя неуклюжесть и полное отсутствие тренировки привели к тому, что игра не доставляла удовольствия даже мне (не говоря уж о тех, кто играл со мной в одной команде). Для меня (боюсь, не для меня одного) все эти игры были просто неизбежным злом, вроде подоходного налога или больных зубов. А тут на целых две недели я получил отсрочку.

И вдруг разразилась гроза. Фрибл солгал. Я принадлежал совсем к другому клубу, там уже не раз вносили мою фамилию в списки играющей команды, а я не знал об этом и совершил одно из тягчайших школьных преступлений – подвел клуб. По приказу самого главного, при его помощниках, мне задали порку. На Главного я обиды не таю (то был рыжий, веснушчатый мальчик, звавшийся то ли Порридж, то ли Борэдж) – для него это было обычное, заурядное дело. А хуже всего было вот что: явившийся за мною герольд – тоже из элиты, немногим уступавший

Самому, — чтобы я осознал весь ужас своего преступления, сказал так: «Ты кто? Никто! А Порридж здесь Главный».

Мысль эта даже тогда показалась мне сомнительной. Я мог бы предложить два других варианта. Во-первых, он мог бы сказать: «Мы раз и навсегда научим тебя ни у кого не спрашивать о том, о чем ты должен пойти и узнать сам», — что ж, такой урок мне пригодился бы. Еще лучше было бы научить меня, что член из элиты вполне может соврать. Слова же «Ты никто!» совершенно не соответствовали смыслу и причинам моего поступка. Как бы подразумевалось, что я не явился в клуб из наглости или самомнения. Я думаю, даже этот герольд не мог в это поверить. Неужели они и в самом деле думали, что жалкий новичок, только что вошедший в чуждое для него общество, от беспощадных правителей которого зависят все его надежды, его покой и счастье, — неужели они думали, что такой новичок в первую же неделю осмелится натянуть нос Самому Главному? Этот вопрос не раз мучил меня и во взрослой жизни. Скажем, когда экзаменатор заявляет, что студенческая работа — прямое оскорбление ему, преподавателю, он что, и в самом деле думает, что измученный студент старался оскорбить его?

Загадочным казалось мне и поведение Фриббла. Была ли то невинная шутка, или он отыгрался на мне за какую-нибудьссору с моим братом? Скорее всего он был попросту трепло; ему так и подымывало сообщить кому-нибудь новость — все равно кому, все равно, правду ли. Воля здесь почти не существует. Только не говорите, пожалуйста, что не важно, из каких побуждений он вовлек меня в беду, не говорите, что когда беда стряслась, он должен был признаться, что во всем виноват он. Не мог он этого сделать! Я уже говорил, что он только-только вошел в элиту, причем элиту низшую, местного значения, он изо всех сил карабкался вверх, и Порридж — или Боррэдж — был для него так же недосягаем, как для меня недосягаем был он сам. Если бы он признался, он подорвал бы свою карьеру, и это в обществе, где карьера значит все, — не забывайте, школа готовила нас к мирской жизни.

Чтобы не обидеть Виверн, я должен оговориться, что Фрибл не был типичным представителем нашей элиты. Брат рассказывал, что Фрибл нарушил законы «ухаживания», а это еще недавно считалось недопустимым. Я уже говорил, что «шлюшек» всячески старались завлечь, на них нельзя было оказывать грубый најим. Но Фрибл употребил свою власть префекта, чтобы умышленно навредить мальчику — скажем, Парсли,

который отверг его заигрывания. Для префекта это легко – есть тысяча мелких правил, которые ты просто обречен нарушать, и префект, если захочет, сделает так, что мальчику не будет покоя ни днем ни ночью. Парсли узнал, что значит отказать члену элиты. Конечно, моя история только выиграла бы, если бы Парсли был добродетелен и отказал бы Фриббулу по моральным соображениям. Увы, он был, как тогда говорили, «в общем употреблении», но когда брат учился в Виверне, красота его уже отцветала и на Фриббле он решил поставить точку. История эта была единственным случаем принуждения, о котором мне известно.

Если учесть, каким соблазнам подвержены юнцы, получившие особые привилегии, окруженные лестью, надо признать, что наша элита была не так уж плоха. Мальчик по прозвищу Граф был вполне добр, Попугай был просто дурак – его еще называли «большой рожей», у Стопфиша, которого считали жестоким, были свои принципы – когда он только поступил в Колледж, многие принялись за ним «ухаживать», он всем отказал. «Красив, а что толку? Чистюля», – говорили в Виверне. Труднее всего оправдать Теннисона. Конечно, нас не очень-то задевала его привычка воровать в магазинах, некоторые даже уважали его ловкость и восхищались, когда он приходил из города с бесплатными носками и галстуками. Но он любил «давать по уху», честно утверждая перед начальством, что учит нас уму-разуму. Новичок должен был встать возле двери, почти прижимаясь к ней левой щекой, а он со всей силы бил в правое ухо. Кроме того, он несколько раз добивался (силой, конечно), чтобы ему предоставили право собирать взносы на турнир по крикету – турнир он не проводил и деньги не возвращал. Но опять же это было время «дела Маркони», а должность префекта – отличная подготовка к общественной жизни. Зато все они, даже Теннисон, никогда не напивались в стельку. Говорят, их предшественники, за год до моего появления в школе, средь бела дня шатались пьяными по коридорам школы. Вообще, хотя взрослому читателю это может показаться странным, как раз в момент моего появления началось серьезное и сумрачное возвращение к каким-то нравственным принципам. В первую же неделю префекты несколько раз собирали нас в библиотеке и произносили речи, грозно заявляя, что нам покажут, почем фунт лиха (что там еще делают реформаторы с моральными отщепенцами?). Особенно хорош был в этой роли Теннисон. У него был прекрасный бас, он пел в хоре, исполнял сольные партии. Я был хорошо знаком с одной из его «шлюшек».

Мир им всем. Их ждала страшная судьба, куда страшнее той, какую мог им пожелать самый озлобленный новичок. Почти все они погибли у Ипра и на Сомме; но пока им было хорошо, они успели по-своему насладиться жизнью.

Беда была не в том, что мне задали трепку, – беда была в том, что из-за Фриббла я стал теперь меченым – Новичком, Который Подвел Клуб. Из-за этого я впал в немилость у Теннисона. Правда, для его неприязни были и другие причины: я был крупноват для своего возраста, а это, как правило, раздражает старших мальчиков; я никуда не годился в спорте; наконец, мне вечно говорили, заканчивая разнос: «Не смей так на меня смотреть». Справедливый и несправедливый упрек опять перепутались. Иногда, от злости или из самолюбия, мне хотелось глянуть на врага вызывающе или высокомерно, но как раз это мне не удавалось. Когда же я старался выглядеть как можно спокойнее, мне говорили: «Не смей так смотреть». Уж не затесался ли среди моих предков какой-нибудь вольный йомен, выглядывавший из меня в самый неподходящий момент?

Главным образом, элита изводила младших «натаскиванием» – целой системой поручений, которые те должны выполнять. Эти системы по-разному складываются в разных школах. Иногда у каждого члена элиты есть свой денщик. Такие системы обычно изображаются в книжках как достойные отношения, что-то вроде рыцаря и оруженосца, где старший отплачивает младшему за службу особой благосклонностью и покровительством. Но если в такой системе есть свои достоинства, их нам вкусить не удалось. «Служба» у нас была безличная, словно рынок рабочей силы, – и это тоже, наверное, готовило нас к взрослой жизни. Все младшие мальчики были рабочей силой или общей собственностью элиты. Если «старшему» нужно было, чтобы кто-нибудь привел в порядок его одежду, начистил ботинки, убрал кабинет, подал чай, он просто орал нечто вроде «Эй, вы!». Все мы сбегались – и он заставлял работать именно того, кто ему не нравился. Хуже всего было чистить спортивный инвентарь, это занимало несколько часов, а потом нужно было чистить еще и свою форму. Чистить обувь тоже было неприятно, не столько само по себе, сколько потому, что дело это приходилось на самое важное время для тех мальчиков, которые, подобно мне, получив стипендию, попали сразу в средние классы, минуя приготовительные, и должны были тянуться изо всех сил, чтобы не отстать. Весь школьный день зависел от часа между завтраком и началом занятий, когда мы со всем классом сверяли домашнее

задание. Чистильщик обуви лишался этой возможности. Конечно, чтобы вычистить пару обуви, целый час не нужен; но сперва нужно было отстоять очередь из таких же новичков, чтобы получить ваксу и щетку. Я отчетливо помню ледяной подвал, в котором мы стояли, — холодный, темный, пропахший ваксой. Разумеется, наша школа была поставлена на широкую ногу, среди прочей прислуги у нас было два чистильщика на жалование, и в конце семестра все мальчики, в том числе и те, которым приходилось чистить чужую обувь, давали им мелочь на чай.

Довольно скоро эта система показалась мне противной и даже унизительной, причем по причине, которую мне стыдно объяснить настоящим англичанам. Ревностные защитники закрытой школы никогда не поверят, что я попросту устал. Но я устал, я был вымотан как собака, как ломовая лошадь, почти как ребенок на заводе. Устал я не только от своей службы — я слишком вытянулся за последний год, и, видимо, силы ушли в рост. Я едва поспевал за работой класса. У меня болели зубы, из-за них я часто не спал ночью. Такую мучительную, бесконечную усталость мне довелось пережить после школы лишь однажды — на передовой в окопах, и даже там, кажется, было полегче. День тянулся бесконечно от ужасной минуты подъема через многие, многие часы, отделяющие от сна. Даже без «службы» в школьной жизни не так уж много возможностей приятно провести свободное время, если тебе не по душе спорт. Для меня смена классных занятий на разминку была не отдыхом, а отказом от сколько-нибудь интересной работы ради работы совсем неинтересной, причем такой, где за малейшую ошибку сурово наказывают, и, что хуже всего, именно тут я должен был делать вид, что все это доставляло мне величайшее удовольствие.

Это притворство, необходимость вечно симулировать, только усиливали скуку. Пожалуй, именно от этого я особенно уставал. Представьте себе, что вас заперли на три месяца с командой игроков в гольф — или, если уж вы увлекаетесь гольфом, пусть это будут заядлые рыболовы, теософы, биметалисты, бэконианцы или немецкие юнцы, склонные писать дневник, причем все они, вооружены и пристрелят вас, как только заметят, что вы недостаточно пылко участвуете в их разговорах, — представьте себе все это, и вы поймете, на что была похожа моя школьная жизнь. Всех интересовали только спорт и «ухаживание», а я слышать не хотел ни о том, ни о другом. Но я обязан был слушать, и слушать с интересом, — для того и отправляют мальчика в закрытую школу, чтобы он стал

нормальным, общительным, чтобы он не вздумал замыкаться в себе, – а если кто очень «особенный», ему придется плохо.

Конечно, многие мальчики увлекались спортом ничуть не больше моего. Очень многие были бы рады ускользнуть от «упражнений». Для этого нужна была подпись старшего учителя отделения, а ее легко было подделать. Умелый мошенник (знал одного такого) мог заработать немало шиллингов на продаже поддельной подписи. Тем не менее все говорили о спорте – по трем причинам. Во-первых, был и подлинный, хотя и сторонний интерес, тот самый, который собирает зрителей на матчи. Играть рвутся немногие, но многим нравится смотреть, как играют другие, и разделять со стороны триумф школы, клуба, отделения, команды. Во-вторых, наш интерес к спорту бдительно подогревали элита и учителя. Равнодушие считалось величайшим пороком, поэтому те, кто интересовался спортом, изо всех сил преувеличивали этот интерес, а таким, как я, оставалось симулировать. Во время матча элита рангом пониже наблюдала за толпой зрителей, сурово наказывая тех, кто «отлынивал», если надо было орать и хлопать, – примерно так, наверное, организовывали и выступления Нерона. Сама идея элиты рухнула бы, если б ее члены играли ради самой игры, для своего удовольствия, – нет, им нужна была восторженная публика. И в этом третья причина сосредоточенности на спорте. Для тех, кто еще не вошел в элиту, по уже отличался какими-то спортивными достижениями, клубы давали возможность преуспеть – но и для них, как и для меня, они не были отдыхом или развлечением. Они выходили на площадку для игр, как девчонка, свихнувшаяся на идее стать актрисой, выходит на прослушивание. Напряженные, вымотанные честолюбивыми надеждами и унизительным страхом, они не могли обрести покой, пока их спортивные успехи не пробьют им местечко в рядах элиты, да и тогда рано успокаиваться: если не будет новых успехов, ты заскользишь вниз.

Насильно организованные игры вытеснили из школьной жизни нормальную игру. Попросту играть, в подлинном смысле этого слова, нам было некогда. Слишком жестоко соперничество, слишком велика награда, слишком страшен провал.

Единственный «игрок» (и то не в спорте) был наш ирландский граф. Он вообще был исключением, хотя вовсе не из-за знатности. Это был дикий ирландец, анархист, не поддававшийся никакому обществу. С первого года в школе он уже курил трубку. По ночам он отправлялся в соседний город,

думаю, не ради женщин, а ради безобидного озорства, плохой компании и приключений. У него был револьвер, с которым он не расставался. Мало того – он заряжал его только одной пулей, прокручивая барабан так, чтобы этот выстрел оказался последним, и, ворвавшись к кому-нибудь в комнату, «расстреливал» в него все холостые патроны, так что ваша жизнь зависела от его умения считать до шести. Правда, мне казалось, что на это (в отличие от «натаскивания») жаловаться грех. Граф издевался не столько над новичками, сколько над старшими и над учителями; нападения его были совершенно бескорыстны и даже беззлобны. Мне Бэллигунниэн нравился; он тоже погиб во Франции. Кажется, он так и не вошел в элиту. Впрочем, если бы он в нее вошел, он бы этого не заметил – он так и прожил всю свою школьную жизнь, не обращая на все это внимания.

Попси – рыженькая горничная, убиравшая «жилую» часть школы, тоже участвовала в наших играх. Ее ловили и затачивали в дортуары (особенно старался Граф); она хихикала и визжала. По-моему, она была слишком разумна, чтобы уступить свою «добротель» кому-либо из элиты, но, как говорили, если застать ее в подходящем месте и в подходящий момент, она соглашалась просветить ребят по части анатомии. Может быть, те, кто хвастались, просто врали.

Я еще ничего не сказал об учителях. Об одном из них, очень любимом и уважаемом, я расскажу в следующей главе, а об остальных едва ли стоит говорить. Ни родители, ни тем более сами учителя не понимают, как мало значит учитель в школьной жизни. Он почти не имеет отношения к бедам и радостям, выпадающим на долю школьника, и едва ли знает о них. Глава нашего отделения был, по крайней мере, честен – он очень хорошо кормил нас. Вел он себя с нами по-джентльменски, в душу не лез. Иногда по ночам он обходил дортуары, тяжело ступая и покашливая, прежде чем распахнуть дверь. Он не любил шпионить, не любил портить удовольствие – словом, сам жил и нам не мешал.

Но я все больше уставал душой и телом и начинал ненавидеть Виверн. Я не замечал истинного зла, которому учила меня эта жизнь, – ведь я постепенно становился снобом, умником, «высоколобым». Но об этом – в другой главе; сейчас я хочу только повторить, как я устал. Повторяю я это потому, что усталость была содержанием моей жизни в Виверне. Белый день, бодрствование стало пыткой, сон я ценил превыше всего. Лечь, уйти от голосов, притворства, заученных фраз, вечного изворачивания –

заснуть, вот чего я хотел, и хоть бы не наступало утро, хоть бы никогда не просыпаться...

VII. СВЕТ И ТЕНИ

*В любом положении, сколь бы жалким
оно ни казалось, найдется сопряженное
с ним утешение.*

Оливер Голдсмит

А теперь вы скажете: «Вот так христианский писатель, столько рассуждающий о морали! Целую главу он описывает нам школу, кишевшую противоестественной любовью, и ни слова не говорит о мерзости этого греха!» На то есть две причины. Одну я изложу ближе к концу главы, а другая в том, что этот грех входит в число двух (второй – азартные игры), которые никогда не вызывали у меня искушения, и я не хочу громить на словах врагов, с которыми мне ни разу не пришлось встретиться в подлинной битве. («Значит, все остальные пороки, о которых вы писали...» – да, так оно и есть, и тем хуже для меня, но сейчас разговор не об этом.)

Сейчас я хочу рассказать, почему Виверн превратил меня в сноба. Когда я поступал в эту школу, я еще не догадывался, что моя сугубо личная любовь к хорошим книгам, Вагнеру и мифологии дает мне некое превосходство над теми, кто только листал журналы и слушал модный в те годы рэгтайм. Может быть, вам будет легче поверить в отсутствие такого тщеславия, если я уточню, что дело тут было попросту в моем невежестве. Иэ Хей рассказывает о просвещенном меньшинстве в своей школе, о ребятах, тайно смаковавших Честертона и Шоу, как иные тайно смакуют сигару, – и читатели, и курильщики ищут запретный плод, изображая из себя взрослых. Думаю, что его одноклассники приходили из подготовительных школ Оксфорда, Кембриджа или Челси, где они успели кое-что узнать о современной литературе. Совсем иначе было со мной. К примеру, ко времени поступления в Виверн я хорошо знал Шоу, но я не знал, что этим стоит хвалиться. Книги его просто стояли у отца на полке среди прочих. Я и читать-то начал с «Разговора о драме», поскольку там речь шла о Вагнере, а само это имя имело надо мной власть. Потом я прочел многие его пьесы, не понимая, какова его репутация в «литературном мире», что там – не зная о самом существовании этого мира. Отец считал его шутом, хотя и признавал достаточно забавной пьесу

«Другой остров Джона Булля». Так шло мое чтение – слава Богу, никто его не одобрял и тем более никто им не восхищался. К примеру, Уильяма Морриса отец, но неведомым мне причинам, именовал «свистуном». В Шартре поводом для тщеславия могли быть (и, наверное, были) мои успехи в латыни, поскольку они считались определенной заслугой, но «Английская литература», к счастью, в табели не значилась, и я был избавлен от малейшей возможности гордиться своими успехами в этой области. За всю мою жизнь я не прочел никаких книг или статей на своем родном языке, если они не увлекали меня с первых же страниц. Я догадывался, что большинство людей – и дети, и взрослые – не получают удовольствия от книг, которые я любил. Кое-какие мои привязанности разделял отец, несколько больше общего было у меня с братом, но помимо этого у меня не было товарища в чтении, и я воспринимал это как данность. Если бы я задумался над своей обособленностью, я бы ощутил ее не как превосходство, а скорее как ущемленность. Любой свежий роман был очевидно взросле, умнее и правильней, чем все, что я поглощал. Глубокому и личному наслаждению чтением сопутствовала застенчивость, даже смущение. Я перешел в Виверн, полагая, что моих литературных пристрастий следует стыдиться, а не превозноситься ими.

Но вскоре мое неведение рассеялось. Оно пошатнулось, как только учитель у нас в классе заговорил о величии литературы. Мне впервые открылась опасная тайна: другие тоже могут испытывать «невероятное блаженство» и упиваться красотой стихов. Среди моих новых одноклассников нашлось двое из Оксфордской подготовительной школы (той самой, где юная Наоми Митчинсон написала свою первую пьесу), и от них я узнал, что существует неведомый мне мир, в котором поэзия столь же общепринята, как у нас Спорт и Ухаживание; мир, где даже ценилось умение в ней разбираться. Странное это было чувство – сродни тому, что пережил Зигфрид, узнав, что Миме ему не отец. «Мой» вкус оказался «нашим» вкусом – оставалось лишь узнать, кто такие «мы». А если это «наш» вкус, то появляется соблазн объявить его «хорошим» или «правильным». Как только осуществляется эта подмена, происходит грехопадение. Осознанно «хороший» вкус уже не так хорош. Однако не обязательно делать еще один шаг вниз и презирать «филистеров». К несчастью, я этот шаг сделал. До тех пор, как мне ни было плохо в Виверне, я отчасти стыдился собственного несчастья и все еще был готов (если б мне только позволили) восхищаться нашими небожителями, я все

еще был робок и запуган, но отнюдь не возмущен. Понимаете, у меня не было собственной позиции, территории, на которой я мог бы дать бой нравам и обычаям Виверна, мне казалось, что весь мир противостоит моему жалкому «я». Но в тот самый миг, когда «я» начало, пусть неотчетливо, превращаться в «мы», а Виверн оказался не вселенной, но лишь одним из многих миров, появилась возможность свести счеты, хотя бы мысленно. Я даже точно помню минуту, когда это свершилось. Префект (Благг, Глабб – как-то так его звали), стоя напротив меня и отдавая очередное распоряжение, рыгнул мне в лицо. Он не собирался меня оскорбить – с точки зрения элиты новичка невозможно оскорбить, как любое животное. Если бы он вообще вспомнил обо мне, он бы подумал, что это меня позабавит. Но я перешагнул черту, отделявшую меня от снобизма в чистом виде, – перешагнул ее, взглянувшись в его одутловатое лицо с толстой, влажной, отвисшей нижней губой, в эту мерзкую маску лукавства и лени. «Болван неуклюжий! – подумал я. – Тупица! Ничтожество! Жалкий шут! За все его привилегии я бы не поменялся с ним местами». Так я сделался высоколобым.

Занятно – закрытая школа подтолкнула меня именно к тому, от чего обещала уберечь или исцелить. Если вы сами не побывали в этой системе, вы должны учесть, что смысл-то был в том, чтобы «выбить вздор из мальчишек» и «указать им их место»; как говорил мой брат, «если младших не школить, они сядут тебе на голову». Вот почему я со смущением признавался страницей выше, что постоянное «натаскивание» утомило меня. Стоит сказать об этом, и всякий искренний защитник системы тут же распознает ваш случай и возопит: «Ага, вот оно что! Слишком хорош, чтобы чистить ботинки тем, кто поважнее тебя? То-то и оно, вот тебя-то и надо было натаскивать. Для того и нужна система, чтобы такие юнцы не зазнавались». Почему-то никому в голову не приходит, что могут быть иные причины для недовольства такой системой, нежели зазнайство или чистоплюйство. Прикиньте эту модель к взрослой жизни, и вы сразу поймете, в чем тут дело. Если какой-нибудь сосед получит безоговорочное право требовать от вас любой услуги в нерабочие часы; если вы придетете домой летним вечером, измученный работой, с папкой бумаг, которые надо подготовить на завтра, а тут он ухватит вас за шкирку и вы превратитесь в мальчика на побегушках, а с наступлением темноты он отпустит вас без единого слова благодарности, зато вручит вам свой костюм, чтобы вы почистили его и принесли ему до завтрака, а в

придачу стопку грязного белья, которую ваша жена обязана постирать и зашить, – если при такой системе вы вдруг перестанете чувствовать себя вполне счастливым, не наглость ли ваша тому причиной? Она самая. Ведь любое нарушение правил – «наглость» или «вызов» со стороны новичка, а правило нарушала не только горечь, но даже нехватка должного пыла.

Конечно же, те, кто создавал вивернскую иерархию, предвидели серьезную угрозу: если предоставить ребят самим себе, тринадцатилетние новички, того и гляди, заклюют девятнадцатилетних выпускников, играющих в регби за графство и входящих в школьную команду боксеров. Сами понимаете, это было бы просто ужасно! Пришлось создать чрезвычайно сложную систему, чтобы защитить сильных от слабых, сплоченную группу «стариков» от горсточки вновь прибывших, еще не знакомых толком ни друг с другом, ни со школой, уберечь несчастных львят от яростных и злобных овец.

Доля истины в этом есть: мальчишки бывают наглецами и, пообщавшись полчасика с тринадцатилетним французом, большинство из нас, пожалуй, выскажет в пользу «натаскивания». И все же мне кажется, что старшеклассники могли бы уж как-нибудь защитить себя и без того, чтобы школьные власти непрестанно не поощряли их. Ведь, выбивая вздор из овец, учителя тем же самым вздором забивали головы львам, всячески поощряя их, даже льстя, – ибо чем, как не «взором», была их власть, привилегии и всеобщий восторг от их спортивных успехов. Сама мальчишеская природа взяла бы свое без помощи наставников.

Каков бы ни был первоначальный замысел, система его не воплотила. Уже десятки лет Англия выслушивает горькие, дерзкие, печальные, а то и циничные слова от интеллигентов – почти все они воспитанники закрытых школ, почти все они свою школу не любили. Защитник системы утверждает, что от этих-то высоколобых она и призвана спасти, просто их мало пинали, дразнили, унижали, лупили. А может быть, все-таки они – продукт системы? Может быть, она-то и сделала их высоколобыми, как сделала меня? Ведь если унижение вконец не сломит душу, разве не естественно этой душе вооружиться именно гордыней и сознанием своего превосходства? В трудах и преследованиях мы утешаемся двойной дозой самоуверенности. Разве вы не знаете, как наглеет раб, только что получивший свободу?

Я обращаюсь к беспристрастным читателям – с приверженцами системы спорить бессмысленно, у них, как мы знаем, свои аксиомы, своя логика,

недоступная непосвященным. Они будут отстаивать жестокие спортивные игры. Как же, «все, кроме жалких слабаков» обожают спорт – спортивные занятия и должны быть принудительными, ведь никого, оказывается, к ним принуждать не надо. (О, если б мне не довелось на войне услышать капеллана, который точно так же оправдывал отвратительные церковные шествия!)

Но главное зло школьной жизни, как я теперь понимаю, не в страдании новичков и не в необузданности старших. Было там нечто всепроникающее; именно оно причинило больше всего бед именно тем мальчикам, которым школьная жизнь давалась легко, которые были счастливы в школе. С духовной точки зрения зло школьной жизни в том, что вся она подчинена карьеризму, всех занимает только одно: продвинуться, достичь вершины, закрепиться, удержаться в элите. Конечно, этим озабочены и взрослые, но ни в одном взрослом обществе это не становится главным делом жизни. А ведь именно здесь и у детей, и у взрослых источник – подлости, угодничества перед высшими, коллекционирования нужных знакомств, поспешных отказов от «ненужной» дружбы, готовности бросить камень в того, кто в немилости, и тайного умысла почти за каждым поступком. Вивернские юнцы были самым неискренним, самым не-наивным, не-юным обществом, какое я только видел. Некоторые мальчики просто всю свою жизнь, до мелочей, подчиняли карьерным соображениям. Ради карьеры они занимались спортом, подчинялись правилам, выбирая себе и одежду, и друзей, и развлечения, и даже пороки.

Вот почему я не могу поместить гомосексуализм на первом месте среди грехов Колледжа. Здесь тоже немало лицемерия. Многие утверждают, что хуже этого порока нет ничего. Почему же? Потому, что тех, кому эта склонность не свойственна, от нее мутит почти как от некрофилии. Но такое отвращение не имеет ничего общего с нравственным суждением. Кроме того, говорят, что «это» извращение закрепляется на всю жизнь. Тоже неправда: многие предпочли бы девчонок, но их не было; и когда, став старше, они смогли ухаживать за девушками, они ими и занялись. Быть может, этот грех особенно мерзок для христиан? Но разве те, кто так возмущен им, все поголовно – христиане? Разве христианин осудил бы плотский грех больше всех грехов жестокого и тщеславного Колледжа? Жестокость хуже похоти; искушения мира сего опаснее, чем искушения плоти. Словом, причина возмущения – не в вере и не в этике. Этот порок

пугает нас не потому, что он ужаснее прочих, а потому, что, по взрослым понятиям, он неприличен, он губит репутацию и к тому же осуждается английским законом. Подумаешь, мамона! Она всего-навсего погубит душу и приведет в ад, а вот содомия опозорит вас и приведет в тюрьму.

Те, кто прошел школу, подобную Виверну, если б они только осмелились говорить правду, признали бы, что содомия, при всей ее гнусности, была единственным убежищем для добра, которое у нас еще сохранялось. Только она умеряла накал тщеславия; только она была оазисом (заросшим сорняками, болотистым, грязным) в выжженной пустыне соперничества. Покоренный своей противоестественной любовью, подросток хоть чуть-чуть отдыхал от самого себя, хоть на несколько часов забывал о том, что он «Из-Самых-Самых». Извращение оказалось единственной незапертой дверью, через которую все-таки входило что-то искреннее, неумышленное. Платон был прав: Эрос – извращенный, оскверненный, мерзкий – все же сохранял в себе нечто божественное.

Виверн, пожалуй, должен был бы посрамить всех теоретиков, выводящих общественное зло только из экономики. Ведь, слава Богу, не на жалких оборвышей обрушивалась эта система и не у каждого из элиты карманы были полны денег. Если верить теоретикам, у нас не должно было быть неравенства и угнетения; но нигде я не видел общества, столь полного карьеризма, подхалимства и чванства, столь эгоистичных «верхов», столь жалких «низов», лишенных солидарности и сословной чести. Едва ли мой опыт нужен, чтобы подтвердить очевидную истину. Ведь и Аристотель знал, что люди рвутся в диктаторы не от бедности. У правящего класса есть власть, зачем же ему еще думать о деньгах? Почти все, что ему нужно, ему даром навязнут подхалимы, остальное он возьмет силой.

Но за два подарка я благодарен Виверну, они были чисты и неподдельны. Первым был мой классный наставник, мы его прозвали «Выражала». Хотя вивернцы произносили подчас «Воображала», постарался написать это прозвище так, чтобы передать, как оно звучало.

Мне от рождения везло с учителями (кроме Старика), но Выражала был «превыше ожидания и превыше надежды». Он был седой, носил большие очки – в сочетании с большим ртом лицо получалось немного лягушачье, зато этого никак не скажешь о его голосе. Речь его была слаше меда. Он читал нам стихи, и на его устах они превращались в музыку. Читать стихи можно и иначе, но только так околдуешь мальчиков – подрастут, научатся

пренебрегать ритмом ради смысла или выразительности. Он привил мне вкус к поэзии, научил впитывать и смаковать ее в одиночестве. О строке Мильтона: «Престолы и господства, власти, силы...» – он сказал: «Когда я прочел это, я был счастлив целую неделю». Таких слов я ни от кого еще не слышал. Кроме того, он был удивительно вежлив, хотя вовсе не мягок, порой – очень суров, но то была суровость судьи, взвешенная, честная, без вредности.

За жизнь свою не молвил никому
Дурного, оскорбительного слова.

Ему было нелегко вести наш смешанный класс – часть составляли новички вроде меня, получившие стипендию и сразу попавшие в старший класс, а другую часть составляли ветераны, к концу школы добравшиеся и до этого курса. Только его вежливость объединяла нас. Он неизменно обращался к нам: «Джентльмены» – и не подозревал, что мы можем вести себя не по-джентльменски: на его уроке элита не смела вспоминать о своих привилегиях. В жаркий день, когда он разрешал нам снять куртки, он сам просил у нас разрешения снять свою мантию. Однажды, когда он был недоволен моей работой, он послал меня к директору, чтобы тот пригрозил мне поркой. Директор не понял, в чем дело, и решил, что Выражала недоволен моим поведением. Когда Выражала узнал об этом, он отвел меня в сторону и сказал: «Произошло недоразумение, я ничего подобного не говорил. Если вы к следующей неделе не выучите задание по греческой грамматике, вас накажут, но, разумеется, это не имеет ни малейшего отношения ни к вашим, ни к моим манерам». Сама мысль, что обращение двух джентльменов друг с другом может измениться благодаря порке – была ему просто смешна; скорей уж тут подошла бы дуэль. Его обращение с нами было удивительно точным: ни заигрывания, ни враждебности, ни жалких потуг на юмор – только взаимное уважение и соблюдение приличий. «Нельзя жить без муз», – повторял он, зная, как и Спенсер, что имя одной из них – Вежливость.

Если бы даже Выражала ничему не учил нас, само пребывание в его классе облагораживало. Среди низких амбиций и ложного блеска школьной жизни он один напоминал о мире светлом и человечном, свободном и свежем. Однако и учил действительно хорошо. Он не только околовывал, он умел объяснить. В его устах ясным как день становилось

и устаревшее слово, и запутанный оборот. Выражала сумел внушить нам, что от филолога требуется аккуратность не ради педантизма и не ради дисциплины, а ради точности и вежливости, отсутствие которых – признак «дурного воспитания». Я стал понимать, что тот, кто не видит в поэме точек, может не заметить и ее средоточия.

В те годы студенты классического отделения должны были заниматься исключительно классическими дисциплинами. По-моему, это было правильно, и сегодня, если мы хотим улучшить образование, надо уменьшить число предметов. Не так уж много может человек хорошенко понять, прежде чем ему сравняется двадцать, а мы заставляем мальчика делать сразу десяток дел, и делать их посредственно, на всю жизнь лишая его стандарта, высшей точки отсчета. Выражала учил нас греческому и латыни, но через посредство этих предметов он учил нас и всему остальному. Из того, что мы прочли под его руководством, мне больше всего понравились оды Горация, четвертая песнь «Энеиды» и «Вакханки». Мне всегда нравились классические штудии, но до встречи с ним они нравились мне просто как ремесло, которое мне хорошо давалось. Только теперь я услышал поэзию. Дионис Еврипида соединился в моем сознании со всем строем «Золотого горшка» – эту книгу я только что с наслаждением прочитал. Все это очень отличалось от моего «Севера». Пан и Дионис не были ледяными, пронзительными, неотразимыми, как Один и Фрей. Новое качество вошло в мое воображение – Средиземноморье, вулканическая природа, оргиастический бой барабанов. Эротика не трогала меня, наверное, потому, что очень уж я ненавидел все условности и установления нашей школы.

Другим подарком была школьная библиотека, не библиотека – святилище. Раб, коснувшийся английской земли, обретает свободу; мальчика, вошедшего в библиотеку, пока он там, «школить» нельзя. Правда, туда не так легко попасть. Зимой, если в этот день ты неучаствуешь в соревнованиях, все равно надо выйти на пробежку, летом укрыться там до наступления вечера еще сложнее. Либо надо идти в свой спортивный клуб, либо колледж участвует в каком-то матче, или твоё отделение играет сегодня с другим – тогда тебя потащат смотреть игру. Наконец, по дороге в библиотеку тебя перехватят и зададут службу до темноты. Но если удалось обойти все преграды, тогда – тишина и книги, покой и далекий перестук мячей («О славный звук далеких барабанов»), летом – жужжение пчел и покой, свобода. Там я нашел «Corpus Poeticum

Boreale» и пытался, как мог, понять подлинник с помощью подстрочного перевода внизу страницы. Там я нашел Мильтона, Йейтса и томик кельтской мифологии, которая заняла в моей душе место рядом с норвежской (или чуть пониже). Она пошла мне на пользу – я принял сразу две, нет, три мифологии (ведь в то же время я начинал любить и греческую). Я вполне ощущал их духовное различие – это помогало обрести равновесие, кафоличность. Как хорошо я различал каменную суровость Асгарда, зеленый, сочный, влюбленный, ускользающий мир Круагана, Красной Ветви и Тир-нан-ога и более прочную, солнечную красу Олимпа. На каникулах я писал эпическую поэму о Кухулине и тут же другую, о Финне, соответственно английским гекзаметром и четырнадцатисложником. Хорошо, что я сдался и бросил эту работу прежде, чем окончательно испортил себе слух грубоватыми и легко дающими ритмами.

Север оставался на первом месте, и лишь одно произведение мне удалось завершить – трагедию, норвежскую по содержанию, греческую по форме – «Локи Прикованный». По форме она была безукоризненно классической – с прологом, пародом, эписодиями и стасимами, эксадом, стихометрией и с одной сценой, выдержанной в трохеических септенариях – с рифмой. Как я упивался ею! Мой Локи не был злоумышленником. Он восстал против Одина, потому что Один ослушался его совета – он создал мир, хотя Локи предупреждал, что это бессмысленно и жестоко. Можно ли создавать разумных тварей, не спросив на то их согласия? Главный спор в моей трагедии – между печальной мудростью Локи и примитивной преданностью Тора. Один скорее вызывал симпатию, он понимал Локи и они дружили, пока их не разверла высокая космическая политика. Тор был негодяем, он угрожал Локи, он подстрекал Одина и вечно жаловался, что Локи не уважает старших богов, на что Локи отвечал:

Я почитаю мудрость, но не мощь.

Тор был из элиты, правда, тогда я вряд ли об этом догадывался. А я был Локи, полным того самого интеллектуального самодовольства, каким я начал утешаться во всех моих несчастьях.

В этой трагедии заслуживает внимания ее пессимизм. Как многие атеисты, я отдался вихрю противоречий. Я утверждал, что Бога нет, но

проклинал Его именно за это. Еще больше Он прогневал меня, сотворив мир.

Были ли искренними мой пессимизм, мое желание небытия? Честно говоря, это желание улетучивалось, стоило нашему дикому лорду навести на меня револьвер. По роману Честертона «Жив человек», мой пессимизм, стало быть, неискренен. Но доводы Честертона не вполне меня убеждают. Конечно, когда жизнь пессимиста под угрозой, он ведет себя, как всякий другой человек; инстинкт, оберегающий жизнь, сильнее разума, утверждающего, что беречь ее не стоит. Но разве это доказывает, что пессимист нечестен? Это даже не доказывает, что он заблуждается. Человек может знать, что пить вредно, и все же не устоять перед соблазном. Вкусив жизнь, мы подчиняемся инстинкту самосохранения – жизнь превращается в привычку, как наркотик. Что же из этого? Если я все-таки считаю, что наделивший меня жизнью поступил дурно, то он поступил еще хуже, дав мне инстинкт самосохранения. Меня не просто заставили пить ненавистное мне зелье жизни – само это зелье стало наркотиком! Словом, этот довод против пессимизма не годится. С точки зрения моих тогдашних представлений о творении, я был прав, отвергая его. Правда, тут сказалась и определенная односторонность моего характера – мне всегда было легче отвергнуть, чем принять. Мне легче перенести пренебрежение, чем малейшее вмешательство в свои дела. Совершенно пресная пища устроит меня гораздо больше, чем приправленная не по моему вкусу. Всю жизнь я предпочитал однообразие беспокойству, шуму, суматохе, тому, что шотландцы выразительно именуют «курфуффл». Никогда, ни в каком возрасте, не просил я, чтобы меня развлекали, но, если я осмеливался, я настойчиво требовал, чтобы ко мне не лезли. Словом, мой пессимизм, предпочтение небытия малейшей тревоге, ничтожному огорчению, был порожден, если угодно, малодушным стремлением к покоя. Долго не мог я понять самого ужаса перед небытием, который так силен в докторе Джонсоне. Впервые я почувствовал его только в 1947 году. Но тогда я уже был христианином и знал, чего стоит жизнь и как ужасно упустить ее.

VIII. ОСВОБОЖДЕНИЕ

*Не торопи Судьбы, она сама
Пошлет нам утешенье иль печаль...
«Жемчужина»*

Я уже предупреждал читателя, что Радость разделила мою жизнь на внутреннюю и внешнюю, и оттого мне нелегко вести последовательный рассказ. Перечитав Виверные главы, я восклицаю: «Неправда! Это – время не беды, а счастья. Разве мало было минут, когда боги и герои проносились в твоих мыслях, когда сатиры плясали и бушевали в горных лесах, когда вокруг тебя стояли Брунгильда и Зиглинд, Дирдре, Меб и Елена и ты едва выдерживал это изобилие?!» И правда, я видел больше побед Кухулина, чем сборной колледжа; я не знал, Борэдж стоит во главе школы или Конахар Макнесса. А мир вокруг? Мог ли я быть несчастным, живя в раю? Какой здесь был ясный свет, какие запахи! Я пьянялся от аромата скошенной травы, влажного мха, сладких груш, осенних лесов, горящего дерева, торфа, соленой воды. Все чувства обострялись. Желание томило меня, а этот недуг слаше выздоровления.

Да, это правда, но правда и то, что я говорил раньше. Я рассказываю не одну, а две жизни – они несовместимы, как масло и уксус, как река и канал, как Джекил и Хайд. Каждая настаивает, что она и есть подлинная. Когда я думаю о внешней жизни, я понимаю, что вся моя внутренняя жизнь сводилась к нескольким проблескам, золотым секундам посреди тягостных месяцев, и секунды эти тут же растворялись в старой, тяжкой, безнадежной усталости. Когда я думаю о внутренней жизни, я понимаю, что все, о чем я рассказывал целых две главы, лишь грубый занавес, который я в любой момент мог отдернуть и узреть небеса. Так же двоилась и моя жизнь в семье.

Брат закончил Виверн, когда я туда поступил, и наша мальчишеская дружба кончилась. Ее сменило нечто не столь прекрасное, но подготовленное всеми годами нашего «классического периода». Начать с того, что отец каждый день уходил в девять и возвращался только в шесть. Мы построили с братом собственную жизнь, в которой для отца не было места. А он требовал от нас доверия большего, чем вообще разумно или естественно требовать от детей. Одно событие такого рода имело для меня

важные последствия: еще в школе у Старика я решил жить, как подобает христианину, и написал для себя целый ряд правил, а листки с ними хранил при себе. В первый же день каникул, заметив, как оттопырились у меня карманы от всевозможных бумаг, отец выгреб их у меня и принялся читать. Как всякий мальчишка, я предпочел бы умереть, только бы он не добрался до странички зароков. Я ухитрился стащить ее и бросил в огонь. Но с тех пор до самой смерти отца я ни разу не вошел в его дом, не вынув предварительно из карманов все, что хотел сберечь в тайне.

Так привычка утаивать развилась во мне прежде, чем мне понадобилось скрыть какую-нибудь вину. Теперь за мной числилось уже немало проступков, да и такие вещи, которые я не думал скрывать, я попросту не мог рассказать – например, объяснить отцу, на что похож Виверн (и даже Шартр), было опасно, он вполне мог обратиться к директору, а главное – неловко, невыносимо. К тому же ему и невозможно было что-либо объяснить, такой уж он был.

Мой отец... Не правда ли, этот зacin напоминает вступление к «Тристраму Шенди»? Пожалуй, я даже рад такому сходству. О моем отце стоит рассказывать только в этом духе. Свойство, о котором я собираюсь говорить, так нелепо и своеобразно, что вполне достойно Стерна, да я бы и хотел, чтобы вы отнеслись к моему отцу с той же симпатией, как к отцу Тристrama. Глупым мой отец не был, он в чем-то был даже талантлив. Но когда августовским вечером, после сытного ужина, он усаживался в любимое кресло в душной комнате с запертыми окнами, он способен был перепутать все на свете. Он постоянно спрашивал о нашей школьной жизни, но так и не усвоил ни одной из ее подробностей. Первое и самое очевидное препятствие заключалось в том, что, хотя, задавая вопрос, он был искренне заинтересован, он не успевал выслушать ответ или забывал его, едва выслушав. В среднем раз в неделю он спрашивал все о том же, и каждый раз наш ответ был ему внове. Но это еще можно было преодолеть. Хуже другое – воспринимал он совсем не то, что мы хотели сказать. Он был слишком умен – его живой разум кипел юмором, сочувствием, негодованием, любой мелочи ему было достаточно, чтобы, недослушав ответ, отаться на волю воображению, выстроить свою версию – и уверять, что все это вы сами ему рассказали. Имена он путал, и в его пересказе наши слова попросту нельзя было узнать. Если я рассказывал ему о Черчвуде, который приручил полевую мышь, то через год – или через десять лет – отец спрашивал: «А как там бедняга Чиквид, который так

боялся крыс?» Раз выстроив свою версию, он уже не мог от нее отказаться, и все попытки его поправить вызывали только недоверчивое: «Гм! Что-то ты иначе рассказывал». Даже если он запоминал факты, это не приближало его к истине. Какой толк от фактов, если они истолкованы неверно? Отец был уверен, что у всех поступков должна быть не явная, но скрытая цель. Сам он был честен и порывист, любой негодяй мог провести его как ребенка – но в теории он превращался в насупленного Макиавелли и подвергал совершенно неизвестных ему людей той сложной и мучительной операции, которую он именовал «чтением между строк». Дайте ему исходную точку – и Бог знает, к чему он придет, но в том, к чему он придет, он будет уверен непоколебимо. «Я вижу его насквозь», «прекрасно понимаю, чего он хочет», – говорил он и, как мы вскоре поняли, до могилы видел смертельную ссору, умышленное оскорбление, затаенную обиду, сложнейший расчет там, где они не только невероятны, но и физически невозможны. Если мы пытались возражать, отец лишь снисходительно посмеивался над нашей наивностью, доверчивостью и полным незнанием жизни. И ко всему этому – просто непоследовательность, неожиданности, от которых, казалось, земля уходила из-под ног. «Шекспир писал немое “е” в конце фамилии?» – спрашивал меня брат. Но едва я успевал открыть рот, вмешивался отец: «По-моему, Шекспир вообще не увлекался каллиграфией». В Белфасте была известная церковь, с греческой надписью над входом и высокой башенкой. Я сказал, что эта церковь так приметна, что я узнаю ее, даже глядя с холма. Отец возмутился – он решил, что я утверждаю, будто за четыре мили смогу рассмотреть греческие надписи.

Приведу как образец один более поздний разговор. Брат говорил об обеде, в котором участвовали офицеры его дивизии. «Наверное, твой приятель Коллинз тоже был там», – сказал отец.

Брат: Коллинз? Да ведь он в ней не служит.

Отец (помолчав немного): Стало быть, ваши ребята его недолюбливают?

Брат: Какие ребята?

Отец: Ну, те, что устроили обед.

Брат: Да не в этом дело! Просто это обед только для офицеров дивизии. Больше никого не приглашали.

Отец (после долгого раздумья): Хм! Я уверен, что вы очень обидели бедного Коллинза.

При таких разговорах сам ангел сыновнего почтенья вряд ли удержится от нетерпеливого жеста.

Не хочу уподобляться Хаму и не хочу, словно плохой историк, упрощать интересный и сложный характер. Тот человек, который, развалившись в кресле, не столько не мог, сколько не хотел нас понять, был умелым и сильным юристом, прекрасно справлявшимся со своими обязанностями. У него было чувство юмора, иногда он очень остро шутил. Когда он умирал, миловидная сестра, чтобы развеселить его, как-то сказала: «Ну что вы за старый ворчун. Точь-в-точь как мой отец». «Бедняга! – отозвался он. – Надеюсь у него несколько дочерей».

Вечер отец проводил дома, и это были нелегкие часы – после подобных разговоров нас просто пошатывало. В его присутствии мы отказывались не только от запретных, но и от вполне невинных игр. Это тяжело, это несправедливо, когда человека в его собственном доме встречают как назойливого чужака. Но, как говоривал Джонсон, «что чувствуешь, то чувствуешь». Отец ни в чем не виноват, это мы виноваты, но нам становилось с ним все труднее. Даже его достоинства шли во вред. Я уже говорил, что он не пытался «сохранить дистанцию» и в перерыве между филиппиками обращался с нами как с равными, скорее как с братьями, чем с сыновьями. Но это в теории; на деле так быть не может и не должно. Два школьника и серьезный, даже солидный мужчина со взрослыми привычками не могут быть просто товарищами. Все такие попытки ложатся тяжким грузом на младших. Честертон легко указал на самое слабое место в таких отношениях: «Если тетя дружит с племянником, она требует, чтобы у него не было друзей, кроме тети». Правда, мы не нуждались в других товарищах, но мы стремились к свободе, мы хотели хотя бы бродить по дому без присмотра. А для отца дружба с нами означала, что вечером, пока он дома, мы привязаны к нему, да так, словно нас всех троих сковали каторжной цепью. На эти часы мы должны были забыть о всех своих привычках и интересах. Вот как-нибудь летним днем он возвращается раньше обычного, взяв на полдня отгул. Мы сидим в саду с книжками. Суровый викторианский отец пошел бы в дом и занялся своими делами. Но наш... «Сидите в саду? Чудесно. А не лучше ли нам всем перебраться на скамеечку?» Он надевает «легкий весенний плащ» (Бог знает, сколько у него было таких плащей, я до сих пор еще два донашивала). Посидев несколько минут в плаще на самом солнцепеке, он, конечно, начинает задыхаться. «Не знаю, как по-вашему, – говорит он

тогда, — а по-моему, здесь слишком жарко. Не вернуться ли нам в дом?» Это означало, что мы весь день проведем в комнате, где отец даже не разрешал открывать окна. Не разрешал — хотя, по его теории, это мы дружно так решали. «Царство свободы, мальчики, царство свободы! — охотно цитировал он. — Когда мы хотим сегодня закусить?» И мы понимали, что второй завтрак переносится с часу дня на два, а то и на полтретьего, потому что он издавна привык заменять холодное мясо, которое мы любили, жареным, тушенным, вареным, и все это мы будем есть жарким летом, в столовой окнами на юг. И так весь день, сидим ли мы, стоим или гуляем, мы слушаем его речи (он называл это беседой), со всеми их сложностями и причудами. И тон, и содержание беседы, конечно, устанавливал он. Я не смею осуждать бедного вдовца, который так хотел побольше общаться с сыновьями, и мне навеки стыдно за ту холодность, с которой я принимал его дружбу. Но — сердцу не прикажешь. Он страшно надоедал нам. Когда я должен был произносить свою реплику в «беседе» — слишком взрослой для меня, слишком шутливой, слишком изысканной, — как остро я ощущал ее искусственность! Он рассказывал замечательные анекдоты — о делах, о бизнесменах (в Оксфорде, как я обнаружил, их приписывают Джоветту), о хитрых мошенниках, нечестных политиках, служилых пьяницах. Но я лицедействовал, поддерживая этот разговор. Считалось, что гротеск, юмор, граничащий с нонсенсом, — как раз по моей части, и я должен был играть свою роль. Отец говорил от души, я притворялся, я не мог «быть собой» рядом с ним, и да простит мне Бог, но понедельник, когда он вновь уходил на работу, казался мне лучшим днем в неделе.

Так прошел «классический период» моего детства. Когда я поступил в Виверн, а брат отправился к репетитору, который готовил его в Сэндхерст, все переменилось. Я ненавидел Виверн, брату там нравилось. Он легче приспособлялся, у него не было «вызывающего выражения лица», за которое мне вечно влетало, и, главное, он попал туда прямо от Старика, а я из подготовительной школы, которую успел полюбить. Конечно, после Старика любое учебное заведение покажется раем. В первом же письме из Виверна брат с изумлением сообщал, что здесь дают есть столько, сколько тебе хочется. После Белсена одно это могло искупить все недостатки. Но я поступил в Виверн, уже привыкнув к нормальной еде. И тут произошла беда — моя неприязнь к Виверну потрясла брата. Он любил Виверн, он с радостью ждал дня, когда я разделю эту любовь и мы будем чувствовать

себя заодно, как некогда в Боксене. Вместо этого он услышал от меня хулу на богов, которым поклонялся, а от одноклассников узнал, что его брат, того и гляди, станет в колледже парией. Наш братский союз рушился.

Все это осложнялось тем, что именно тогда у него были очень плохие отношения с отцом, тоже из-за Виверна. Наставник, готовивший его в Сэндхерст, написал отцу, что брат совершенно ничему не научился в школе. Это еще не все – я нашел у отца книгу «Традиции Ланчестера», в которой он резко отчеркнул несколько строк о наглости, бессердечии и пустомыслии школьной элиты, с которой столкнулся новый директор-реформатор. Значит, он считал, что таким вот бессердечным, ленивым, утратившим интерес к учению, забывшим о подлинных ценностях стал мой брат, помимо прочего неотступно требовавший купить мотоцикл.

И ведь отец для того и отправил нас в Виверн, чтобы нас воспитали как элиту, а результат ошеломил его. Это обычная трагикомедия. Отец Вальтера Скотта сделал все, чтобы сын стал гусаром, но когда гусар предстал перед ним, он забыл о своих аристократических потугах и вновь превратился в честного шотландского юриста, которого тошнит от заносчивых юнцов. Так случилось и в нашей семье. Одним из сильнейших риторических приемов отца было намеренно неправильное произношение – так, он всегда растягивал первый слог в слове «Виверн». Мне до сих пор слышится, как он ворчит: «Ви-и-вернское жеманство!» Брат приучался говорить изыскано-лениво, голос отца гремел ирландской музыкой, в которой дублинское детство прорывалось сквозь тонкий слой белфастской цивилизации. Я не мог найти себе места в этих вечных ссорах. Если бы я стал на сторону отца против брата, это разбило бы мое представление о наших семейных отношениях. Все было слишком тяжело и сложно.

Но из всех этих «недоразумений», как выражался отец, для меня вышла неожиданная и великая удача. Наставник, к которому отправили брата, был старым другом отца. Он раньше был директором в Лургане, когда отец там учился; и сумел в кратчайший срок так отстроить из обломков знаний брата, что тот не только поступил в Сэндхерст, но даже оказался в очень малом списке стипендиатов. Отца, впрочем, это не обрадовало – как раз в это время они совсем отдалились друг от друга, а ко времени их примирения успех уже ушел в прошлое. Однако это подтверждало высокую квалификацию учителя, а Виверн к этому времени раздражал отца почти так же, как и меня. И при встрече, и в письмах я молил забрать меня оттуда. Наконец он решился исполнить мою просьбу: надо оставить школу,

отправиться в Серрей и готовиться с мистером Керкпатриком к поступлению в университет.

Этот план стоил ему немалых сомнений. Он должен был представить мне и оборотную сторону: одиночество, внезапный отказ от шумной и веселой школьной жизни (быть может, замечал он, я буду не так рад, как мне кажется), скуку в обществе старика и его жены. Как же я обойдусь без сверстников? Я старательно делал вид, что обдумываю эти проблемы, но в душе я смеялся. Обойдусь, обойдусь! Трудно ли обойтись без зубной боли, без гвоздя в башмаке, без трусливого озоба? Итак, решено! Не говоря о прочем, достаточно и того, что меня больше не заставят заниматься спортом. Если вы не можете представить себе мои чувства, вообразите, что в одно прекрасное утро вы проснулись и узнали, что отменен подоходный налог – или безнадежная любовь.

Конечно, мне не повезло, что я не умел играть и не мог подавить отвращения к мячу и клюшке. Я не придаю спорту того морального или даже мистического смысла, который видят в нем некоторые наставники; на мой взгляд, состязания пробуждают лишь амбиции, зависть и пристрастия. Однако неприязнь к играм – беда, поскольку она отрезала меня от общения с многими неплохими людьми, к которым было невозможно подступиться как-нибудь иначе. Это беда, но не вина – я старался полюбить спорт. Природа обделила меня, я так же мало пригоден для спорта, как осел из басни – для игры на лире.

Многие писатели замечали занятное совпадение: одна удача влечет за собой другую, как одна неприятность – следующую. Примерно в то же время, когда отец решился послать меня к Керкпатрику, в мою жизнь вошло еще одно благо. Несколько глав назад я упоминал о мальчике, который жил по соседству и безуспешно пытался завязать с нами дружбу. Его звали Артур, по годам он приходился ровесником брату; мы оказались в Кэмбеле одновременно, но и там не свели знакомства. Кажется, незадолго до конца последнего семестра в Виверне я получил записку, что Артур поправляется после тяжелой болезни, лежит в постели и просит меня зайти. Не помню, почему я принял приглашение, но я к нему пошел.

Артур сидел в постели. Под рукой у него лежала книга. «Мифы Норвегии».

– Ты это любишь? – спросил я.

– Ты это любишь? – спросил он.

В следующий миг книга уже была у нас в руках, мы тесно сблизили головы, тыча пальцами, цитируя, обсуждая, переходя на крик в потоке вопросов и ответов обнаруживая, что мы не только любим одну и ту же книгу, но и те же страницы в ней, и по одной и той же причине. Оказалось, что нам обоим знакомы мгновения Радости; что обоим пронзили грудь стрелы Севера. Тысячи людей вновь и вновь встречают первого в жизни друга, но это остается чудом, столь же великим, как и первая любовь, а может, и большим (что бы ни говорили авторы романов!). Я и представления не имел, что у меня может появиться друг, и не пытался обрести его, как не пытался стать королем. Если бы я узнал, что Артур сам по себе создал точное подобие Боксена, я бы не так удивился. Нет в жизни ничего столь изумительного, как открытие, что существует человек, во многом похожий на тебя.

В последние недели моего пребывания в Виверне в газетах появились тревожные сообщения – шло лето 1914 года. Мы вместе пытались понять, что значит, например, такая статья: «Сможет ли Англия держаться в стороне?» – «Держаться в стороне? – переспросил мой приятель. – Не понимаю, какое Англия имеет отношение ко всему этому». Воспоминания окрашивают в апокалиптические тона последние часы перед катастрофой, но, быть может, воспоминания лгут. Мне эти часы и впрямь казались значимыми, но просто потому, что я покидал школу, я видел эти ненавистные мне стены в последний раз и меньше их ненавидел. Даже дешевая мебель взыгрывает к тебе, словно заблудший дух, когда ты думаешь: «Больше я ее не увижу». В начале каникул Англия вступила в войну. Брат, только что получивший в Сэндхерсте отпуск, был срочно отзван. Несколько недель спустя я отправился к мистеру Керкпатрику в Серрей.

IX. ВЕЛИКИЙ ПРИДИРА

*В жизни мы встречаемся с характерами
столь экстравагантными, что разумный поэт
никогда бы не осмелился вывести их на сцене.*

Лорд Честерфилд

Наступил сентябрьский день, когда я добрался на пароходе до Ливерпуля, оттуда – до Лондона, а из Лондона, со станции Ватерлоо, отправился в Серрей. Мне говорили, что Серрей – «пригород», поэтому пейзаж за окном удивил и обрадовал меня: пологие холмы, влажные долины, рощи, которые ирландец, к тому же воспитанник Виверна назвал бы лесами; заросли папоротника, целый мир, зеленый, желтый и красный. Даже пригородные дачи (их тогда было не так много) мне нравились: кирпичные домики среди деревьев были намного краше пригородных уродцев Белфаста. Я боялся, что увижу посыпаные гравием дорожки, железные калитки и неизменные лавры с араукарией, но меня ждали узкие тропки, бегущие с холма на холм, живые изгороди, фруктовые сады и березы. Может быть, эстет осудил бы эти дома, но, по-моему, и сами они, и садики делали свое дело – даровали обитателям уют и счастье. Я начал мечтать о домашнем очаге, какого у меня никогда не было, – так и казалось, что в этих домиках по вечерам всей семьей пьют чай и чашечки выносят к столу на подносе.

В Букхеме меня встретил мой новый наставник – «Керк», «Великий Придира», как звали его отец, брат, а потом и я. Отец так много рассказывал о нем, что я вроде бы уже знал, что меня ожидает. Я готовился перенести излияния его нежности – не такая уж дорогая плата за избавление от школы, хотя, с другой стороны, и немалая. Особенно смущал меня один рассказ отца о том, как еще в Лургане, когда он как-то попал в беду, добрый старый Придира отвел его в сторону, нежно обнял, потерся своими милыми старыми бакенбардами о юную щеку отца, прошептал слова утешения и т. п. Итак, я приехал в Букхем, и старый сентиментальный учитель самолично ждал меня на платформе.

Он был очень высок, больше шести футов, одет в старье (как садовник, подумал я), тощ как палка и весьма мускулист. Его сморщенное лицо состояло из сплошных мускулов; правда, оно было видно лишь отчасти –

наподобие императора Франца Иосифа, он чисто выбивал подбородок, зато носил усы и длинные бакенбарды. Мое внимание, как вы понимаете, было приковано к бакенбардам, и щеки заранее горели. С чего он начнет? Конечно, прослезится при встрече, но не было бы хуже. Почему-то я всю жизнь терпеть не мог обниматься, тем более – целоваться с мужчинами. (Это, конечно, не мужество, а слабость, с друзьями целовались и Эней, и Беовульф, и Роланд, и Ланселот, и Джонсон, и адмирал Нельсон.)

Однако старику удалось сдержать свои эмоции. Мы пожали друг другу руки, и хотя он стиснул мою ладонь, словно клещами, он не пытался ее удержать. Мы пошли домой. «Сейчас, – сказал он, – мы проходим мимо главного шоссе, соединяющего Большой и Малый Букхем». Я взглянул на него, в шутку или всерьез он сообщает мне эти сведения? Может он пытается скрыть свои чувства? Сколько я ни вглядывался в его лицо, я видел лишь непоколебимую серьезность. Пытаясь «завести разговор» в той жалкой манере, которой я выучился на званых вечерах и применял в беседах с отцом, я сказал, что пейзаж Серрея показался мне более «естественным», чем я ожидал. «Стоп, – воскликнул Керк, и я чуть не подпрыгнул от неожиданности. – Что, по-вашему, означает «естественность»?»

Я ответил какой-то случайной фразой, но Керк отвергал ответ за ответом, пока, наконец, я не понял, чего он хочет. Он не болтал, не шутил, не занимал меня – он требовал правильного ответа. Наконец я понял, что вовсе не знаю, что значит «естественность» и что даже тот смысл, который я вкладываю в это понятие, не имеет ни малейшего отношения к моей фразе. «Итак, – сказал Великий Придира, – ваша фраза бессмысленна». Я малость насупился, полагая, что на этом разговор исчерпан – но нет, Керк перешел к содержанию фразы. Теперь он хотел узнать, на чем основаны (он произносил «установлены») мои предположения о ландшафте? На картах, на фотографиях, на учебнике? У меня не было никаких оснований, за всю жизнь мне не приходило в голову, что мои суждения (или то, что я ими считал) должны быть на чем-то «установлены». И Керк пришел к выводу, в котором было так же мало «чувств», как и – по моим тогдашним понятиям – вежливости: «Теперь вы видите, что у вас нет ни малейшего права высказываться по этому поводу».

Знакомство наше длилось три с половиной минуты, но тон отношений, который был задан первой беседой, соблюдался все годы моего пребывания в Букхеме. Все это было до смешного непохоже на славного старого

Придиру из отцовских воспоминаний. Я знаю, как отец был привержен истине; знаю и то, как странно преображалась любая истина в его сознании, и ни на секунду не подозреваю, что он пытался нас обмануть. Но если Керк хоть раз в жизни отвел какого-нибудь мальчика в сторону, чтобы потереться о его щеку бакенбардами, я готов поверить, что в неведомые мне часы он стоит на своей лысой как коленка голове.

Я не встречал более логичного человека. Родись он позже, он бы наверняка стал позитивистом. Ему была отвратительна сама мысль, что можно открыть рот не ради того, чтобы обнаружить или сообщить истину. Любая случайная реплика становилась сигналом к спору. Вскоре я научился различать три восклицания. Громкое «стоп!» обрывало бессмысленную болтовню, которую он терпеть не мог – не потому, что она его раздражала (об этом он не думал), а потому, что отнимала время и затемняла мысль. Более тихое «извините!» означало, что он собирается что-то уточнить или исправить, и тогда, быть может, вам удастся закончить фразу, не придя к бессмыслице. Подбадривая, он приговаривал: «Так! Я слушаю!» Это значило, что он собирается оспорить ваши слова, но сама фраза имеет смысл, это достойная ошибка. Если удавалось добраться до спора, аргументы всегда были одни и те же: где я об этом прочел? изучил ли я вопрос? что я знаю о статистике? каков мой личный опыт? – и неизбежный вывод: «Итак, у вас нет ни малейшего права...»

Кому-нибудь это могло бы и не понравиться, но для меня это было лучше мяса и пива. Я боялся, что досуг в Букхеме будет проходить во «взрослой беседе». Я ожидал разговоров о политике, деньгах, смертях и пищеварении. Я полагал, что с возрастом во мне разовьется вкус к таким беседам, как, скажем, к горчице и газетам (увы, по всем трем линиям меня постигло разочарование). Я-то любил те беседы, которые либо давали пищу воображению, либо задавали работу уму. Мне нравилось потолковать с братом о Боксене, с Артуром – о Валгалле, с дядей Гасом – об астрономии. Точные науки мне не давались – лев, именуемый математиком, поджидал меня на пути. Там, где царила чистая логика (например, в геометрии), яправлялся, иправлялся с удовольствием, а вот считать не умел. Правила я понимал, ответ вычислял неверно. Но хотя я не способен был стать исследователем, я чувствовал склонность к логическому мышлению не меньше, чем к радостям воображения, я пенил логику. Керк развивал эту сторону моего ума. Он не знал пустого разговора, он не думал о собеседнике – он думал о том, что этот

собеседник говорит. Конечно, я фыркал, порой натягивал поводья, но в общем мне нравились такие отношения. Побыв несколько раз в нокдауне, я научился выставлять защитный блок и наращивать мускулы. Льщу себе мыслью, что в итоге я стал неплохим партнером. Наступил великий день, когда человек, столь долго выбивавший из меня склонность к расплывчатости, предупредил меня, чтобы я не слишком увлекался тонкими дефинициями.

Если бы беспощадная аргументация Керка была чисто педагогическим приемом, я бы возмутился против нее. Но он просто не умел разговаривать иначе. Ни возраст, ни пол не избавляли вас от сократической беседы. Он бы не поверил, что человек может не пожелать исправления и ясности мысли. Почтенный сосед заходил к нему в воскресенье и, пожалуй, слишком уверенно замечал в процессе беседы: «Что ж, всякие люди нужны на свете. Вы вот либерал, я консерватор, конечно, мы смотрим на вещи с разных точек зрения». Керк отвечал: «Должен ли я понимать вас так, что некий факт лежит на столе, а консерваторы и либералы смотрят на него с разных сторон?» Если визитер сохранял присутствие духа и пытался продолжить: «Конечно, бывают разные мнения», Керк, воздев обе руки кверху, кричал: «Стоп! У меня вообще нет мнений!» Он любил повторять: «За девять пенсов ты мог бы узнать истину, а ты предпочитаешь невежество». Самую обычную метафору он рассматривал до тех нор, пока не извлекал из нее горькую истину. «Дьявольская жестокость немцев...» – начинал кто-нибудь. «Разве дьявол не выдумка?» – спрашивал он. «Хорошо, зверская жестокость». – «Звери не бывают жестоки». – «Так как же мне сказать?» – «Разве не ясно? Мы должны назвать их жестокостью человеческой». Он презирал тех учителей, с которыми встречался, когда преподавал в Лургане. «Подходит ко мне и спрашивает: как вы предлагаете поступить с мальчиком, который ведет себя так-то и так-то? Господи! Как будто я когда-нибудь сочинял рецепты, как с кем поступить!» Очень редко в нем пробуждалось чувство юмора. Его голос становился еще серьезнее, и только подрагивание ноздрей выдавало, в чем дело, – тем, кто уже хорошо знал его. Вот так он говорил: «Выпускник Оксфорда – самый главный человек на свете».

Наверное, жене было нелегко. Однажды ее муж по ошибке забрел в гостиную, где несколько дам собрались на партию в бридж. Через полчаса миссис Керкпатрик выбежала из комнаты с перекошенным лицом, а мистер

Керкпатрик просидел там еще несколько часов, уговаривая семью пожилых и насмерть запуганных женщин «выражаться поточнее».

Он был очень логичен, но все же не до конца. Когда-то он был пресвитерианином, теперь стал атеистом. По воскресеньям, как и в другие дни недели, он возился в саду, но один странный пережиток его христианских дней сохранился: по воскресеньям Старый Придира надевал выходной костюм. Шотландец, родившийся в Ольстере, может отречься от Бога, но не от воскресного костюма.

Он был не просто атеистом – он был рационалистом той старой, высокой и чистой школы, которую создал XIX век. Теперь атеизм спустился с духовных высот к мирским и политическим дрязгам. Неведомый благодетель, присылающий мне антихристианские газеты, хочет оскорбить во мне христианина, а оскорбляет бывшего атеиста – мне горько, что мои бывшие единомышленники и, что еще горестней, единомышленники Керка пали так низко. В те времена даже Маккейб писал достойно. Когда я познакомился с Керком, его атеизм принял форму пессимизма – он читал Шопенгауэра и «Золотую ветвь».

Но ведь и мой пессимистический атеизм был тогда в самом расцвете. Наставник только поддержал уже избранную мной позицию. Да и эту поддержку я извлекал не из содержания, а из тона его беседы или чтения принадлежавших ему книг. Впрямую он при мне не нападал на религию. Может быть, читателю нелегко в это поверить, но таковы факты.

Я прибыл к Керку (его дом назывался Гастонс) в субботу, и он объявил, что в понедельник мы начнем Гомера. Я сказал, что знаю только аттический диалект, в надежде, что он предварит чтение уроками по гомеровскому языку. Он ответил: «Угу» – и все. Я встревожился и, проснувшись в понедельник утром, с ужасом напомнил себе: «Сегодня Гомер!» В девять утра мы сели работать в маленьком кабинете наверху, который мне еще предстояло полюбить. Когда мы работали вместе, мы садились рядом на диван; когда я готовил уроки в одиночестве, я сидел за столом; помимо этого в кабинете был книжный шкаф, камин и портрет Гладстона в рамке. Мы открыли первую песнь «Илиады», и Керк с ходу прочел двадцать строк, совершенно непривычно для моего слуха произнося слова согласно новомодным правилам. Как Выражала, он читал нараспев, но голос его не тек медом – он взрывался согласными, перекатывал «р», пробовал на вкус разные гласные – и все это подходило эпосу бронзового века, как сладостное чтение Выражалы – одам Горация. Хотя Керк

прожил большую часть жизни в Англии, он сохранил в чтении ольстерский акцент. Затем он перевел, очень мало объясняя, около сотни строк. Мне еще не приходилось получать зараз такими порциями классику. Кончив, он протянул мне словарь Крузиуса, велел самому разобраться в том, что мы «прошли», — и оставил меня одного. Я смог пройти совсем немного по намеченному им следу, но с каждым днем мне удавалось двинуться все дальше и дальше. Наконец, я научился читать весь кусок, который он разбирал с утра, потом я стал заглядывать на несколько строк вперед. Это было вроде игры — как далеко мне удастся зайти. Керк вроде бы пока больше ценил объем, чем качество перевода. И вскоре я научился понимать без словаря; я перестал, даже мысленно, переводить текст, я начал думать по-гречески. Именно эта граница отделяет нас от знания языка. Тот, для кого греческое слово живет только в словаре, кто должен непременно подменить это слово словом родного языка, по-гречески не читает — он разгадывает кроссворд. Все эти «naus означает корабль» неверны. Naus и корабль не равны друг другу, они означают некую вещь, а не друг друга. Греческий Naus, как и латинский navis, — что-то «темное, узкое, управляемое парусами и гребцами»; и никакое английское слово не должно становиться между нами и этой картиной.

Мы установили определенный порядок, который стал для меня образцом, и с тех пор, когда я жалуюсь, что мало выпадает «нормальных дней», я имею в виду нормальный день в Букхеме. Я хотел бы всегда жить так, как тогда. Я хотел бы завтракать в восемь, к девяти садиться за стол и читать или писать до часу. Хорошо бы в одиннадцать мне принесли чай или кофе. Это совсем не то же самое, что заглянуть в соседний паб и выпить пива — один пить не станешь, а пока поболтаешь со знакомым, перерыв в работе окажется куда дольше десяти минут. В час мы ели, в два я отправлялся на прогулку, обычно — один: гулять и разговаривать — большие удовольствия, но не нужно их смешивать. Разговор заглушает все шорохи природы, к тому же, начав разговаривать, мы начинаем курить — и одно из наших чувств перестает природой наслаждаться. Гулять можно только с таким другом, какого я обрел в Артуре, — достаточно взгляда, жеста, внезапной остановки, чтобы подтвердить, что в этот миг он испытывает те же чувства, что и ты. Возвращаться с прогулки надо не позднее чем в четверть пятого, и чтобы чай был уже накрыт. Чай хорошо пить в одиночестве — так бывало в Букхеме в те дни (к счастью, нередкие), когда миссис Керкпатрик уходила в гости — сам Керкпатрик чая не пил. Вот

чтение и еда – два удовольствия, которые прекрасно сочетаются. Конечно, не все книги тут годятся. Читать за едой стихи – кощунство. Надо читать что-нибудь легкое, такое, что можно раскрыть на любой странице. В Букхеме я читал за чаем Босуэлла, перевод Геродота, «Историю английской литературы» Эндрю Лэнга. Годились и «Тристрам Шенди», «Очерки Элии», «Анатомия меланхолии». В пять я снова садился за работу, до семи. В семь ужин, после ужина – беседа или чтение попроще, и если ты не собираешься болтаться заполночь с приятелями – а их у меня в Букхеме не было, – то почему б тебе не лечь в одиннадцать? А когда же писать письма? Но ведь я описываю жизнь с Керком или ту идеальную жизнь, какой я хотел бы жить сейчас, – а для идеальной жизни надо избавиться от почты и не дрожать всякий раз при виде почтальона. Я получал только два письма в неделю: от отца – ответить на него я был обязан, и от Артура – это было величайшим счастьем, страница за страницей мы изливали друг другу свой восторг. Брат, уже из армии, писал редко, зато странно, – и редко, но подробно, я отвечал ему.

Так я хотел бы жить, и так я жил тогда. Все же хорошо, что я лишен этой эпикурейской жизни – она слишком эгоистична, хотя и не эгоцентрична, – я сосредотачивался на чем угодно, кроме себя самого. Это очень важное различие: один из моих хороших друзей, человек легкий, счастливый, приятнейший в общении, был законченным эгоистом. Но я знаю людей, вполне способных на самопожертвование, которые превращают жизнь в мучение для себя и своих близких, потому что всецело сосредоточены на себе и своих печалах. В конце концов, и эгоизм, и эгоцентризм разрушают душу. И все же я предпочту того, кто заботится только о себе (пусть даже за мой счет), но говорит обо всем, кроме себя самого, тому, кто заботится обо мне, но думает только о себе, ибо его забота будет упреком, призывом пожалеть его, поблагодарить, преклониться.

Керк, конечно, дал мне не только Гомера. Оба великих зануды – Цицерон и Демосфен – тоже требовали внимания. И – о, счастье – Лукреций, Катулл, Тацит, Геродот. Вергилия я еще не успел полюбить. Я писал сочинения по латыни и по-гречески. (Как ни странно, я дожил вот уже почти до шестидесяти лет, так и не заглянув в Цезаря.) Еврипид, Софокл, Эсхил... По вечерам я занимался французским с миссис Керкпатрик – примерно так же, как и Гомером с ее мужем. Мы быстро прочли несколько хороших романов, и вскоре я уже покупал себе

французские книги. Я надеялся, что буду писать сочинения и по-английски, но, увы! – то ли Керк чувствовал, что не вынесет моего творчества, то ли догадывался, что я люблю этот жанр, который он, несомненно, презирал, – так или иначе, этим он не занимался. Первые несколько дней он давал мне задание по английской литературе, но, заметив, что в свободные часы я не теряю времени, он предоставил это моему собственному выбору. Позже мы приступили к итальянскому и немецкому, все тем же способом. Очень быстро прошли грамматику, я выполнил упражнения и сразу погрузился в «Фауста» и «Ад». В итальянском я преуспел, с немецким, наверное, тоже все получилось бы, но мне пора было уже расставаться с Керком, так что здесь я остался на уровне школьника. Несколько раз, уже во взрослой жизни, я приступал к «отчистке» немецкого, и всегда тут же находилась более срочная работа.

Важнее всего был Гомер. День за днем мы продвигались вперед, мы выхватили из «Илиады» всю «Ахиллеиду», а потом прочли «Одиссею» целиком, и ее музыка, ее ясный, печальный свет навсегда вошли в меня. Конечно, я романтизировал ее, как всякий мальчишка, успевший начитаться Уильяма Морриса. Зато это спасло меня от худшей ошибки, от «классицизма», которым гуманисты помрачили полмира. Вслед за Моррисом я называл Керка «ведуньей» и каждую свадьбу «брачным пиршеством» – и не жалею об этом. Это все ушло без следа, я научился зрело воспринимать «Одиссею». Странствия, по-прежнему, значат столько же, сколько они значили, великая «благая катастрофа»¹, как сказал бы Толкин, когда Одиссей срывает лохмотья и во весь рост встает перед женихами, – значит не меньше, чем прежде, но, пожалуй, теперь я больше всего люблю эти изысканные, в духе Шарлотты Йонг, семьи на Пилосе и в Спарте. Да, в каждом веке есть цивилизованные люди – и в любом веке они живут среди варваров.

На дневной и воскресной прогулке мне открывался Серрей. Какой прекрасный контраст с моими родными местами, где я гулял на каникулах! Красота их была столь разной, что даже дурак не попытался бы их сравнивать, и это раз и навсегда исцелило меня от опасной привычки сравнивать и выбирать лучшее – это глупо, когда речь идет об искусстве, и совсем глупо, когда речь идет о природе. Прежде всего, надо отдаваться красоте. Закрой рот, открой глаза и уши. Вбирай в себя то, что видишь, и

¹ В оригинале – *great moment of “eucatastrophe”*. О толкиновском неологизме *эвкатасстрофа* (то есть «благой, счастливый конец») см. его эссе «О волшебных сказках». – *Прим. ред.*

думать не думай о том, что бывает или есть где-нибудь еще. Об этом ты можешь, если нужно, подумать потом. (И заметьте, если вы сумеете хорошенько научиться чему-нибудь, это непременно поможет вам потом научиться христианству. Христианство – школа, где сумеют использовать все ваши прежние уроки.) Я любил укромность Серрея. В Ирландии я видел издалека горизонт и море, а тут были извилистые тропинки, узкие долины, леса. В долинах и лесах прятались деревни, полевые тропки, кустарники и тайные лощины – и среди них, всегда неожиданно – коттедж, ферма, дача или усадьба; я не мог охватить все это взглядом и каждый день отправлялся на прогулку, словно в лабиринт сказаний Мэлори или «Королевы фей». Даже если мне удавалось забраться на гору и оттуда оглядеть долину, в ней все равно не было классического единства вивернских ландшафтов. Долина переходила на юге в другую долину, поезд проезжал и скрывался в роще, холм прямо напротив меня ухитрялся скрыть свои выступы и расселины. Так бывало даже в летний полдень, но еще прекраснее был осенний день на дне долины, в молчании, под старыми огромными деревьями. Особо я помню ту минуту, когда как-то (в тот раз – с компанией) на Фрайди-стрит обнаружил, что мы уже добрых полчаса ходим по кругу; и еще я помню зимний вечер и холодный закат возле горы Кабанья Спина. Зимним вечером в субботу я возвращался с прогулки с озябшими руками, красным носом, сладостно предвкушая чай и зная, что дома, у очага меня ждет чтение на вечер и на воскресенье – новая, долгожданная книга. Вот тогда я бывал так счастлив, как только можно быть счастливым на земле.

Говоря о почте, я забыл упомянуть посылки. В наше время было одно преимущество, которому можно теперь позавидовать: книги были доступны и дешевы. «Эвримэн» стоил шиллинг и всегда был в продаже, «Мировая классика», «Библиотека муз», «Домашняя библиотека», «Темпл классик», французские книги Нельсона, карманные издания Бона и Лонгмена – все было доступно. Деньги мои уходили на подобные заказы, и самыми счастливыми были те дни, когда с дневной почтой приходила бандероль в серой обертке: Мильтон, Спенсер, Мэлори, «История святого Граала», саги, Ронсар, Шенье, Беовульф, «Гавейн и зеленый рыцарь» (последние две книги в переводе), Апулей, «Калевала», Геррик, Уолтон, Джон Мандевиль, «Аркадия» Филипа Сидни, Уильям Morris. Иногда книга разочаровывала меня, иногда увенчивала мои надежды, но сам миг, когда я распечатывал посылку, был прекрасен. Приезжая в Лондон, я с

робким почтением глядел на здание книжного агентства: так много радости исходило от него.

Выбражала и Керк были главными учителями в моей жизни. По средневековым понятиям, Выбражала учила меня грамматике и риторике, а Керк – диалектике. Они дополняли друг друга. В Керке не хватало изящества и тонкости, у Выбражалы было меньше энергии и юмора. Юмор Керка был юмором сатурналий, юмором самого Сатурна – не низложенного царя, а угрюмого Старца-Времени, Жнеца и Пресекателя жизни. Я ощущал дуновение этого горького юмора, когда Керк вставал из-за стола (всегда раньше нас) и шарил в старой жестянке, выбирая остатки не выгоревшего при последнем курении табака. Он, словно скупец, использовал снова эти крохи. Я его вечный должник, и мое уважение к нему до сего дня неизменно.

X. БЛАГОСКЛОННОСТЬ СУДЬБЫ

*Поля, потоки, небеса в огне –
Все благосклонно улыбалось мне.*

Эдмунд Спенсер

Я сменил Виверн на Букхем, я сменил и привязанности: место брата занял Артур. Брат служил во Франции; с 1914 по 1916 год, пока я был в Букхеме, он изредка появлялся, осиянnyй славой юного офицера, по моим тогдашним понятиям – невероятно богатый, и увозил меня на несколько дней в Ирландию! С девяти лет я по шесть раз в год пересекал Ирландское море, отпуск брата стал дополнительным поводом для поездки домой, так что для человека, не любящего путешествовать, я, пожалуй, слишком много вспоминаю о плаваньях. Стоит закрыть глаза, и я, порой – против воли, вижу фосфоресцирующую волну вокруг корабля, неподвижную на фоне звезд мачту – движется только вода мимо нас; длинную телеснорозовую полосу восхода или заката там, где горизонт смыкается с холодной серо-зеленой водой, и удивительное гостеприимство суши, выбегавшей мне навстречу мысом и отмелями, холмами и горами, – по мере же продвижения как бы вглубь берега горы исчезали.

Конечно, эти внеочередные каникулы были для меня величайшим удовольствием. Разногласия с братом из-за Виверна теперь стерлись. На время этих кратких встреч мы пытались возродить свою детскую дружбу. Брат служил в интендантских войсках, это считалось сравнительно безопасным, и мы не испытывали той мучительной тревоги, которая терзала большинство семей. И все же бессознательно я боялся за него, только так я могу объяснить странную галлюцинацию, когда зимним вечером мне однажды представился брат в Букхеме, в саду; он, как тени у Вергилия, «inceptus clamor frustratur hiantem» – из уст его вырывался лишь писк, как у летучей мыши. Этот образ, странная смесь ужаса и чего-то безнадежно-жалкого – языческий Гадес, нелепый, жуткий, отталкивающий.

Дружба с Артуром началась из-за нашего сходства во вкусах. К счастью, мы оказались достаточно разными, чтобы пригодиться друг другу. Семья у него была совсем другая – его родители принадлежали к Плимутскому братству, к тому же он был младший из множества братьев и

сестер. Правда, дома у него было гораздотише, чем у нас. Он начал было работать, «вошел в дело» под руководством старшего брата, но здоровье подвело его, и после повторной тяжелой болезни семья освободила его от этого труда. Он был одаренным пианистом, пытался сочинять музыку, рисовал. Мы мечтали, что он сделает оперу из «Прикованного Локи», но, само собой, этот проект, прожив счастливую, но краткую жизнь, мирно угас. В чтении Артур больше или постоянней влиял на меня, чем я на него. Главным его недостатком как читателя была глухота к стихам. Я пытался помочь, но без особого успеха. Зато Артур любил не только чудеса и мифы – это увлечение я полностью разделял, – но и совсем иную литературу, которую я до встречи с ним не воспринимал, и эту любовь он передал мне на всю жизнь. Он любил «славные старые толстые книги», английский роман. До встречи с Артуром я их избегал – отец заставил меня прочитать «Ньюкомов» слишком рано, и потом, вплоть до Оксфорда, я не мог читать Теккерея. (Я до сих пор не люблю его – правда, уже не за то, что он читает мораль, а за то, что ему эта мораль не дается.) Диккенса я боялся еще и потому, что в детстве, не умея читать, слишком много разглядывал иллюстрации к его книгам. Они были плохие; как у Уолта Диснея – беда не в уродстве уродливых существ, а в сладавых куколках, которые так назойливо требуют сочувствия, хотя Дисней, конечно, намного превосходит тогдашних иллюстраторов Диккенса. Из всех романов Скотта я читал только средневековые – то есть самые слабые. Артур уговорил меня прочесть то, что написано под именем Уэверли, а также сестер Бронте и Джейн Остен. Эти книги уравновесили то чтение, которое слишком уж питало мою фантазию, и я научился радоваться тому, что эти два пристрастия такие разные. Артур убедил меня, что в «недостатках» этих книг и заключается их очарование. Я говорил об их «заурядности» – Артур называл ее «уютом». Слово «уют» много значило для него – не просто домашний очаг, но все, что связано с нашим первичным опытом, естественным окружением, – погода, семья, еда, соседи. Он наслаждался первыми словами «Джейн Эйр» и первой фразой в одной из сказок Андерсена: «Ах, какой это был дождь!». Он любил само слово «книксен» у Бронте, наслаждался сценами в кухне и классной комнате. Он видел «уют» не только в книгах, но и в природе, и этому тоже научил меня.

До того я был примитивно романтичен в отношениях с природой. Я любил страшное, дикое, чуть фантастичное, а главное – пространство и

недосягаемую даль. Я восторгался горами и тучами, в пейзаже я прежде всего различал небо (и до сих пор в первую очередь смотрю вверх) и знал по имени перистые, кумулятивные и грозовые облака задолго до того, как увидел их изображение в альбоме. Что до ландшафта, я вырос среди романтических пейзажей; я уже говорил о недосягаемых Зеленых горах, которые виднелись за окном детской. Читателю, который бывал в тех местах, достаточно будет услышать, что больше всего я любил Голивудские горы – тот неправильный многоугольник с вершинами в Стормонте, Комбере, Ньютонардз, Скрейбо, Крейгатлетс, Голивуде, Кнокнагонни. Не знаю, как объяснить все это иностранцу.

По южноанглийским стандартам это не бог весть что. Леса мелкие, редкие, березы, рябины да ели. Маленькие поля, разделенные канавками и возвышающимися над ними иззубренными изгородями. Во многих местах земля вымыта и горные породы обнажены. Множество маленьких озер с холодной водой – совершенно заброшенные. Трава почти всегда стоит дыбом под натиском ветра. За пахарем вприпрыжку скачут чайки, выклевывая по зернышку из борозды. Нет ни полевых тропинок, ни разрешенных проходов – но здесь все тебя знают; во всяком случае, знают, что ты закроешь за собой калитку в изгороди и не собираешься топтать колосья. Грибы, как и воздух, принадлежат всем. Земля не коричневая, как в Англии, – она бледная, «древняя, печальная земля». А трава – сочная, мягкая, вкусная, и весь пейзаж освещен одноэтажными, чисто выбеленными домиками с голубой черепицей на крыше.

Хотя эти горы приземисты, с них открывается вид во все стороны. Поднимитесь на северо-восточный склон, там, где холмы начинают переходить в Голивудские горы. Сверху видна вся гавань. Побережье уходит резко на север и скрывается из глаз, а на юге холмы низенькие, смиренные. Между ними уходит в море коса, и в ясный день можно даже издалека разглядеть призрачные очертания Шотландии. Идем на юго-запад. Встаньте у одинокого коттеджа – он заметен от нашего дома, все называют его Хижиной Пастуха, хотя в этих местах пастухов нет. Отсюда виден весь пригород. Гавань и море скрыты холмами, через которые вы только что перевалили, оставшаяся на виду часть моря может показаться внутренним озером. Вот теперь вы увидите великий контраст, границу, что разделяет и соединяет Ниблайм и Асгард, Британию и Логрис, Хондрамит и Харандру, воздух и эфир, нижний мир и высший. Отсюда мы увидим горы Антрома, обычно – как единую серо-голубую массу, лишь в ясный

солнечный день можно различить зеленый склон, линия которого обрывается чуть дальше, чем на полпути к вершине, и голую отвесную скалу, которая увенчивает гору. Это – великая красота, но в тот же миг, стоя все там же, вы разглядите совсем другую и более желанную сердцу красоту – солнечные зайчики, траву и росу, кукареканье петухов и покряхтывание уток. Между тем миром и этим, прямо у ваших ног, с плоского дна большой долины поднимается чащоба заводских труб, гигантские краны, все в тумане, – Белфаст. Там шумно, там скрежещут и повизгивают трамваи, цокают копыта на неровной мостовой и все покрывает неутомимый стук и грохот корабельных доков. Поскольку мы слышали это всю свою жизнь, шум не губил тишину гор, он даже усиливал, подчеркивая, усугубляя контраст. Завтра в этот «шум и суету», в ненавистную контору вернется бедняга Артур – изредка он получал отгул, и тогда даже в будний день мы могли подняться вместе в горы. Там, внизу, босоногие нищенки, пьяницы, вываливающиеся из «винной лавки» – так мерзко называется в Ирландии милый английский «паб», – измученные, заезженные городские лошади, крепко поджавшие губы богатейки – там весь мир, который Альберих вызвал к жизни, когда проклял любовь и сковал из золота кольцо.

Пойдем дальше – через два поля, через долину и на другой холм. Отсюда, поглядев на юг, и немного к востоку вы увидите совсем иной мир – и тогда упрекайте меня за романтизм, если хотите. Вот он (можно ли этому сопротивляться?), вот путь за пределы мира, земля обетованная, земля разбитых и исцеленных сердец. Это огромная долина, а по ту сторону – гора Морн.

Средняя дочь кузена Квартуса, «Валькирия», впервые объяснила мне, с чем можно сравнить эту долину. Вы сумеете представить ее себе в миниатюре, если возьмете несколько картофелин среднего размера и выложите их одним (только одним!) ровным слоем на дно коробки. Засыпьте их землей, так, чтобы картофелины уже нельзя было различить, но форма их еще угадывалась; расщелины между ними будут соответствовать провалам в почве. А теперь увеличивайте свою коробку до тех пор, пока зазоры между картофелинами не вместят каждый свою речушку и свои заросли. Остается только пестро раскрасить все это – заплаты маленьких полей (акр-другой, не больше) с обычным набором – зеленая трава, желтые колосья, черная пахота. Вот вам долина Даун. Правда, долиной ее считет только великан – для него вся эта земля (наши

картофелины) будет на одном уровне, только ходить неудобно, все равно что по рассыпанному гороху. А коттеджи, не забудьте, белые – все пространство изукрашено белыми точками, они светятся в долине, играют, словно морская пена под легким летним бризом, И дороги белые, их еще не покрыли асфальтом. Среди множества равных холмов-демократов эти дороги пробивались во всех направлениях, то исчезая, то появляясь вновь. Солнце здесь не такое жесткое, как в Англии, бледнее, ласковее. Края облаков стерты, размыты и влажно блестят, все почти утратило вещественность. Далеко-далеко – вы едва видите, вы только знаете, что они там, – горы, крутые, крепко сбитые, с четкой вершиной. Они совсем другие, чем те холмы и домики, среди которых мы стоим. Порой они кажутся голубыми, порой – лиловыми, а еще чаще – прозрачными, словно сам воздух сгустился и принял форму горы, и за ними можно увидеть отсвет невидимого моря.

К счастью, у отца не было машины, зато меня иногда брали на автомобильную прогулку приятели. Так удалось мне побывать в этой тайной дали столько раз, чтобы с ней связывались воспоминания, а не просто смутная тяга, хотя в обычные дни эти горы были для меня так же недосягаемы, как Луна. Слава Богу, я не мог в любой миг отправиться куда вздумается. Я измерял расстояние человеческой мерой – шагами, а не усилиями чужого моему телу мотора. Я не лишился пространства, я обрел несметные сокровища. Современный транспорт ужасен – он и вправду, как хвалится, «уничтожает расстояние», один из величайших данных нам Богом даров. В вульгарном упоении скоростью мальчишка проезжает сто миль и ни от чего не освобождается, ни к чему не приходит – а для его деда десять миль были бы путешествием, приключением, быть может – паломничеством. Если уж человек так ненавидит пространство, чего бы ему сразу не улечься в гроб? Там ему будет достаточно тесно.

Все это я любил еще прежде, чем встретил Артура, и все это разделил с ним, А он научил меня видеть Уют, он научил меня, к примеру, ценить обыкновенные овощи, все назначение которых – кастрюля. Он видел колдовство в капусте, и был прав. Он прерывал мое созерцание горизонта и показывал дыру в изгороди, сквозь которую виднелся одинокий фермерский домик. В кухонную дверь пробирался серый кот; возвращалась из хлева, покормив свиней, усталая старая хозяйка, с согбенной спиной, добрым морщинистым лицом. Особенно мы любили, когда уют и романтика встречались, когда маленький огород взбирался в гору посреди

обнаженной породы, когда слева мы видели мерцающее при луне озеро, а справа – добросовестно дымящую трубу и освещенные окна дома, чьи обитатели уже ложились спать.

На континенте продолжалась неумелая резня Первой мировой. Я уже понимал, что война затягивается, я успею достичь призывного возраста; и вынужден был выбирать, в отличие от английских мальчиков, которых принуждал закон, – в Ирландии служба добровольная. Я выбрал службу – тут нечем особо гордиться, мне просто казалось, что это дает мне право хотя бы до поры до времени не вспоминать о войне. Артур не мог служить из-за больного сердца. Кому-нибудь может показаться неправдоподобным или бесстыдным мое нежелание думать о войне; могут сказать, что я бежал от реальности. Я же попросту заключил с этой реальностью сделку, я назначил ей встречу, я мысленно сказал своей стране: «Вот когда ты меня получишь, и не раньше. Убей меня в своих войнах, если так надо, а пока я буду жить своей жизнью. Тело отдашь тебе, но не душу. Я готов сражаться, но не стану читать в газетах сводки о сражениях». Если вам нужны оправдания, я напомню, что мальчишка, выросший в закрытой школе, привыкает не думать о будущем – если мысль о надвигающемся семестре проникнет в каникулы, он просто погибнет от отчаяния. К тому же Гамильтон во мне всегда готов был остерегаться Льюиса – я слишком хорошо знал, как изматывают душу размышления о будущем.

Даже если я был прав в своем решении, происходило оно от не слишком приятных качеств моего характера. И все же я рад, что не растратил силы и время на чтение газет и лицемерные разговоры о войне. Какой смысл читать сообщения с поля боя без всякого понимания, без карт, не говоря уж о том, что они искажены прежде, чем достигли штаба армии, вновь искажены самим штабом, «приукрашены» журналистами – да что там, уже завтра они, чего доброго, будут опровергнуты. Какой смысл понапрасну надеяться и страшиться! Даже в мирное время не стоит уговаривать школьников, чтобы они читали газеты. Прежде чем они закончат школу, почти все, что было там написано за эти годы, окажется ложным – ложные факты, неверные толкования, неточная интонация; да и то, что останется, уже не будет иметь ни малейшего значения. Значит, придется менять точку зрения и, скорее всего, у читателя разовьется дешевый вкус к сенсациям, он будет поспешно пролистывать газету, чтобы узнать, какая еще голливудская актриса подала на развод, как сошел с рельсов поезд во Франции и что за близняшки-четверня родились в Новой Зеландии.

Я жил теперь лучше, чем в прежние годы: начало занятий перестало быть для меня мукой, но осталась радость возвращения домой в конце семестра. Сами каникулы становились все интереснее. Наши взрослые кузины Маунтбрэ肯 уже не были столь безнадежно взрослыми: старшие движутся нам навстречу, и с годами разница в возрасте уничтожается. Было много веселых вечеров, хороших бесед. Я нашел еще людей, кроме Артура, которые любили те же книги. Отвратительные «общественные обязанности» — танцы — кончились, отец разрешил мне больше на них неходить. Остались только приятные вечера в кругу людей, которые все были друг другу старыми друзьями, или старыми соседями, или бывшими одноклассниками (особенно женщины). Мне неловко рассказывать о них, я говорю только о Маунтбрэкенах, потому что без них я не сумею рассказать свою жизнь. Хвалить своих друзей — назойливо и самодовольно. Я не расскажу вам ни о Дженни и ее матери, ни о Билле и его жене. Провинциальное, пригородное общество обычно рисуют черными или серыми красками. Неправда. В том обществе никак не меньше доброты, ума, изящества и вкуса, чем в любом другом.

Дома продолжалось отчуждение — и внешнее дружелюбие. После каждого семестра у Керка мои мысли и слова становились чуточку яснее, и отцу все труднее было говорить со мной. Я был слишком молод, чтобы видеть в отце и положительную сторону, чтобы различить плодотворность, благородство, остроту его ума на фоне слепящей ясности Керка. Со всей жестокостью юности я раздражался именно теми свойствами отца, которые в других стариках мне потом казались милыми чудачествами. Как часто мы не могли понять друг друга! Однажды я получил письмо от брата — отец захотел его прочесть. Ему не понравились какие-то слова об одном из наших знакомых. Я заметил, что брат писал не отцу. «Вздор, — ответил он. — Он ведь знал, что ты покажешь мне это письмо, он рассчитывал, что ты мне его покажешь». Я-то понимал, что брат надеялся (и зря), что мне удастся прочесть его письмо в одиночестве. Но отец этого просто не понимал — он не отнимал у нас право на личную жизнь, он просто не догадывался, что она у нас есть.

Эти отношения с отцом были причиной (хотя не оправданием) одного из худших поступков моей жизни. Я отправился на конфирмацию и причастился, совершенно не веря в Бога, то есть вкусили Его плоть себе на погибель. Как говорит Джонсон, если у человека не осталось мужества, его покинут и все другие добродетели. Из трусости я лгал, из трусости

совершил кощунство. Я не ведал и не мог ведать, что творил, но ведь знал же, что притворяюсь в самом серьезном деле. Но я не мог объяснить отцу свои взгляды. Он не уничтожил бы меня, как верующий викторианский отец, он был бы сама доброта, он захотел бы «все это обсудить», но я не сумел бы объяснить ему, что я думаю, я тут же сбился бы, а из его многословного ответа, из всех цитат, анекдотов, воспоминаний, которые обрушились бы на меня, я услышал бы то самое, чего совсем не ценил: о красоте христианства, о традиции, чувстве, упорядоченной жизни. Когда я отверг бы этот довод, он бы разгневался, а я бы тихонько огрызлся. Заведя этот разговор, я потом не смог бы от него избавиться, Конечно, мне следовало спокойно встретить эту опасность, а не идти к причастию. Но я струсил. Сирийскому военачальнику разрешено было преклонять колени в храме Риммона. Я, как и многие другие, преклонил колени в храме истинного Бога, считая Его Риммоном.

Вечером и в выходные дни я был прикован к отцу – это осложняло жизнь, потому что в эти часы был свободен Артур. В будни я был, слава Богу, одинок. Со мной был только Тим, которого мне следовало упомянуть гораздо раньше. Тим – это наш пес. Наверное, он поставил рекорд по долголетию среди ирландских терьеров – он уже был у нас, когда я отправился к Старику, а умер только в 1922. Правда, Тим не всегда разделял мое общество, мы уже давно пришли к соглашению, что он не станет сопровождать меня на прогулку – я ходил слишком далеко для этого валика, или даже бочки на четырех лапах. К тому же там могли повстречаться чужие собаки – Тим отнюдь не был трусом, я видел, как он яростно сражался на собственной территории, но чужих собак он просто терпеть не мог. В те времена, когда он еще выходил на прогулки, едва завидев собаку, он тут же исчезал за ближайшей изгородью и выныривал через сотню ярдов. Он был щенком, когда мы отправились в школу, и, быть может, его неприязнь к собакам сформировалась под влиянием нашей неприязни к сверстникам. Теперь мы с ним были не столько хозяином и псом, сколько двумя постояльцами одной гостиницы. Каждый день мы встречались, проводили вместе какую-то часть дня и с полным уважением друг к другу расходились по своим делам. Кажется, у него тоже был друг по соседству, рыжий сеттер, почтенный пес средних лет. Он, наверное, хорошо влиял на Тима – бедняга Тим был самым неаккуратным, непослушным и недисциплинированным из известных мне четвероногих, он никогда не слушался, в лучшем случае милостиво соглашался с вами.

Я с наслаждением проводил долгие дни в пустом доме за работой, Я читал романтиков. В те времена я был смиренным читателем – потом я уже не мог обрести это ценное свойство. Если какие-то стихи мне не нравились, я не говорил, что они плохие, я думал, что просто устал или не настроился. Длинноты «Эндимиона» я приписывал своему невниманию. Я пытался – правда, безуспешно – полюбить «обморочность» Китса. Почему-то я считал (почему – теперь уж не вспомнить), что Шелли выше Китса, и очень огорчался, что нравится он мне меньше. Больше всего я любил Уильяма Морриса. Сперва я набрел на цитаты из него в книгах по норвежской мифологии, так я добрался до «Сигурда Вольсунга». Правда, мне не все в нем нравилось, как я ни вчитывался, – теперь я понимаю, что ритм его стихов не насыщал моего слуха. Но в книжном шкафу Артура я нашел «Колодец на краю света». Посмотрел – пролистал оглавление – нырнул – и вынырнул только на следующий день, чтобы помчаться в город и купить эту книгу. Как большинство новых путей, это был забытый старый путь – «рыцари в доспехах» возвращались из раннего детства. После этого я читал подряд всего Морриса – «Язона», «Земной рай», прозу. Внезапно, даже с некоторым чувством вины, я ощутил, что само начертание имени УИЛЬЯМ МОРРИС действует на меня столь же зачаровывающе, как прежде ВАГНЕР.

Артур научил меня любить самое тело книг. Мы с братом всегда уважали книгу, но мы не смели хватать страницы жирными пальцами или небрежно их перелистывать, загибая уголки. Артур не просто уважал книги – он был в них влюблен и передал эту любовь мне. Я научился наслаждаться обликом страницы, прикосновением к бумаге, ее запахом, шелестом страниц – у каждой книги свой. Тут я впервые заметил изъян в Керке – своими крепкими руками садовника он хватал мои новенькие издания классиков, до отказа перегибал корешок, оставлял пометки на каждой странице.

– Помню, – подтвердил отец, – это единственный недостаток старого Придиры.

– Большой недостаток, – заметил я.

– Почти непростительный, – откликнулся отец.

XI. ИСПЫТАНИЕ

Чем выше прилив, тем ближе отлив.

«Сэр Олдингер»

Теперь я должен выправить хронологию в истории Радости, вернувшейся ко мне на высоких волнах вагнеровской музыки и норвежской мифологии.

Первоначальное увлечение Валгаллой и валькириями стало перерастать в научный интерес. Я зашел так далеко, как только мог без знания древнегерманских языков. Я мог бы сдать серьезный экзамен и презирал высокочек, путавших поздние саги с классическими, прозаическую Эдду – со стихотворной или, того смешнее, Эдду и саги. Я знал строение эддического космоса, я знал, как устроен Асгард и кто в нем живет. И очень долго я не замечал, что все это не имеет ничего общего с изначальной Радостью. Я нагромождал подробность на подробность, приближаясь к той минуте, когда буду знать больше, а радоваться меньше. Я построил храм – и увидел, что божество покинуло его. Я уже не испытывал того наслаждения. Разумеется, я этого не понимал, я видел только, что не получаю прежнего восторга. Как Уордсворт, я оплакивал «ушедшую славу».

Я сжал зубы и решил во что бы то ни стало добиться прежней Радости – и вновь обнаружил, что бессилен. Я забыл песенку, которая могла приманить райскую птицу. Как я был слеп! Ведь все это время я вспоминал ту особенную утреннюю прогулку по горам, покрытым белым туманом, когда я полной чашей черпал утраченную ныне Радость. Дома лежал только что прибывший рождественский подарок отца – два тома «Кольца» («Золото Рейна» и «Валькирии»). Предвкушение ожидавшего меня чтения, холод и одиночество холмов, капли влаги на каждой ветке и отдаленный шум скрывшегося из виду города – все вместе порождало желание (оно же было и наслаждением), истому, окутавшую не только разум, но и все тело. Теперь я вспоминал эту прогулку. Мне казалось, что тогда я вкусили русскую Радость – о, если б только вернуть этот миг! Я никак не мог понять, что воспоминание об этой прогулке само по себе тоже было Радостью. Конечно, это было тягой и памятью, а не обладанием, но ведь и то чувство, которое я переживал на прогулке, тоже было желанием, и

обладанием его можно назвать только в том смысле, что само желание было желанным, оно и было самым полным обладанием, какое нам доступно на земле. По самой своей сути Радость стирает границу между обладанием и мечтой. Обладать – значит хотеть, хотеть – то же самое, что обладать. Я жаждал, чтобы меня пронзило то же острие, и миг этой жажды был свершением. Желанное, прежде отождествлявшееся с Валгаллой, теперь скрывалось за неким моментом из прошлого, но я не узнавал его, потому что как идолопоклонник и ритуалист требовал, чтобы божество явилось в тот храм, который я для него возвел, не сознавая, что ему нужно лишь созидание храма, а не завершенное здание. Кажется, Уордсворт всю жизнь не мог избавиться от этой ошибки. Я убежден, что тоска по утраченному видению, которой пронизана «Прелюдия», и есть такое же видение – но поэт не сумел его признать.

Мне не кажется кощунственным сопоставлять мое заблуждение с ошибкой тех женщин, которых Ангел у Гроба упрекнул: «Что ищете Живого между мертвыми? Его здесь нет, Он воскрес». Конечно, я сравниваю малое с бесконечно великим, но ведь и солнце отражается в капле росы. Эта параллель с солнцем и его отражением вполне точна, поскольку сходство между христианским опытом и жизнью воображения кажется мне отнюдь не случайным. Я полагаю, что все вещи, каждая по-своему, отражают небесную истину, и наше воображение – не худшее из зеркал. Да, именно «отражает». Воображение, на низшей его ступени, не ведет к высшей духовной жизни¹ – оно отражает. В моей душе оно не сочеталось ни с верой, ни даже с этикой, оно не сделало меня лучше или хотя бы мудрее. И все же в нем отражалась истина, пройдя через множество искажений.

Сходство между духовной жизнью и воображением проявляется и в том, что на обоих уровнях мы совершаем одни и те же ошибки. Я уже рассказывал, как я погубил свою веру опасным субъективизмом, все время требуя «исполнения», отвернувшись от Господа и сосредоточившись на себе, искусственно добиваясь определенного состояния духа. Теперь, столь же упорно и глупо, я подрывал жизнь своего воображения. Я совершил ошибку в тот самый миг, когда стал сетовать: что же это «прежний восторг» приходит ко мне все реже? Словом, я вновь интересовался лишь «ощущением», лишь своим внутренним состоянием – а

¹ Т. е. в силу собственной своей природы. Господь может использовать его для такой подготовки.

это страшная ошибка. Все внимание, все мечты надо сосредотачивать вне себя – на дальней горе, на прошлом, на богах Асгарда – только тогда придет Радость. Радость может прийти, когда ты желаешь не ее самое, а нечто иное, отдельное от себя. Если какими-то аскетическими упражнениями или зельями и удается вызвать ее изнутри, она окажется поддельной. Уберите объект желания, и что вам останется? Смесь образов, странный трепет диафрагмы, миг воспарения – а кому это нужно? Ошибка, как я уже сказал, происходит на любом уровне душевной жизни, она неисцелима, она превращает веру в самоуслаждение, любовь в самолюбование. А затем, подменив свою цель и внешний объект неким внутренним состоянием, вы пытаетесь вызвать это состояние – вот вторая ошибка. Когда «Северность» начала таять, мне следовало бы догадаться, что Желанное, Объект желания – нечто более далекое, более внешнее и менее субъективное, чем даже сравнительно «объективная» и общедоступная система мифологии; что Желанное лишь просвечивает сквозь эту систему. Но я решил, что мне требуется определенное настроение и внутреннее состояние, и я смогу найти его в разных областях. «Получить его вновь» сделалось моей постоянной потребностью; читая любые стихи, слушая музыку, выходя на прогулку, я каждый раз усиленно прислушивался к себе – не начинается ли благословенный миг, а там – старался удержать и продлить его. Я был очень молод, мир красоты открывался мне, порой я забывал об установленных мною правилах – и в этот миг отрешенности от себя Радость меня пронзала. Но все чаще и чаще я отпугивал ее жадным нетерпением и, даже когда она все-таки приходила, тут же губил напряженным самокопанием и разлагал неверным представлением о самой ее сути.

По крайней мере, одно я узнал – и это уберегло меня от распространенного заблуждения: я на опыте убедился, что это совсем не подмена «половых инстинктов». Многим кажется, что мы бы и слыхом не слыхали о «духовной жажде», если бы у каждого юнца вовремя появилась любовница. Я сам не раз совершил эту ошибку и именно так убедился, что это – ошибка. Нельзя не заметить разницы, переходя от северной мифологии к эротическим фантазиям, но когда постоянным источником Радости сделалось творчество Морриса, этот переход осуществлялся легче. Было нетрудно прийти к выводу, что я мечтаю об этих замках, потому что в них живут девицы, о реках – потому что в них обитают наяды, и о садах Гесперид ради самих Гесперид. Каждый раз я проходил этот путь до

самого конца, я испытывал удовольствие и убедился, что стремлюсь не к этому. Дело не в морали – в то время я был настолько далек от морали, насколько это возможно для человека. Меня огорчало не то, что я получил «низменное» удовольствие вместо «возвышенного», а то, что я получил не то, чего искал. Пес сбился со следа, поймал бесполезную добычу. Добрый кус мяса для того, кто умирает от жажды, – вот чем было для меня сексуальное удовлетворение. Оно не внушало мне целомудренного ужаса, мои чувства можно примерно выразить так: «Ну ладно. Все ясно. Но разве я этого хотел?» Радость – не сублимация пола, скорее половой инстинкт подменяет собой Радость. Я иногда задумываюсь: а может быть, все удовольствия – подмена истинной Радости?

Таким было тогда мое воображение, и разум все сильнее противопоставлял себя ему. Никогда еще полушария моего мозга не были так разделены. Море и многие острова поэзии, с одной стороны; поверхностный, холодный разум, с другой. Почти все, что я любил, казалось мне частью воображения; почти все, что я относил к реальности, было угрюмо и бессмысленно, кроме нескольких людей, реальных, но все же любимых, и природы – то есть природы, воспринимаемой чувствами. Я бесконечно пережевывал одну и ту же мысль: «Почему природа так прекрасна и в то же время так жестока и бессмысленна?» Я готов был повторить за Сантаяной: «Все добро лишь кажимость, вся реальность – зло». Только это не было «бегством от реальности». Я не подменял реальность желаниями – я едва мог поверить в реальность, им не противоречащую.

Только в одном тот мир, в который ввел меня рационализм Керка, отвечал моим стремлениям. Он был угрюм и бледен, но, по крайней мере, в нем не было христианского Бога. Не все поймут, почему меня это так устраивало. Но вспомните мою историю и мой склад души. В той вере, которую я пережил у Старика, было слишком много страха, а теперь, при поддержке Шоу, Лукреция и Вольтера, я начал преувеличивать этот страх, забывая обо всех остальных элементах прежнего опыта. Главное – чтобы не вернулись те лунные ночи, что я пережил в школьной спальне. Опять же, мне легче было от чего-то отказаться, чем что-то искать; важнее избежать боли, чем обрести счастье, и я возмущался тем, что я создан ипущен в этот мир без моего согласия. Вселенная материалистов была хороша своей ограниченностью – никакое несчастье здесь не вечно, смерть избавит нас от всего. А если и временное несчастье окажется

невыносимым, самоубийство отворит нам дверь. Ужас христианской вселенной в том, что из нее нельзя выйти. К тому же ее внешнее выражение не соответствовало моему представлению о красоте. Восточная образность и пышность были мне противны, а в целом христианство ассоциировалось с уродливыми храмами, скучной музыкой и плохими стихами. Только в Вивернской церкви и в поэзии Мильтона совпадали вера и красота. Но, конечно, главную роль в моем отказе от веры играли ненависть к авторитету, мой дикий индивидуализм, мое беззаконие. Больше всего на свете я не любил, когда ко мне «лезут». Христианство, казалось мне, будет вмешиваться в святая святых моей жизни. С ним невозможно договориться, в самых глубинах души я не смогу оградить место, обнести колючей проволокой и надписать: «Вход воспрещен». А только этого я и хотел – клочка «своей земли», где я смогу ответить любому: «Это мое дело, и тебя оно не касается».

Здесь я действительно подстраивал мир под свои желания. Да, наверное так. Материалистическая концепция не удовлетворила бы мой ум, если она не соответствовала хоть какому-нибудь из них. Но даже философию школьника трудно объяснить только его желаниями, потому что в столь важном деле желания не ладят друг с другом. Любое представление о мире, приемлемое для здравого ума, удовлетворяет одни духовные потребности и противоречит другим. У материалистической вселенной было лишь одно достоинство – вернее, не было одного недостатка. Больше я в ней ничего хорошего не видел. Надо было принять бесмысленные пляски атомов (я ведь читал Лукреция), и признать, что вся красота мира – лишь внешний блеск, и назвать призраком все, что я любил. Я пытался честно уплатить эту цену, ведь Керк учил меня интеллектуальной честности, и я стыдился непоследовательности. В своей вульгарной юношеской гордыне я восхищался собственной просвещенностью. Я спорил с Артуром – и был глуп и груб. Мне казалось чрезвычайно солидным называть Бога «Яхве» и называть Христа «Иешуа».

Оглядываясь теперь на свое прошлое, я удивляюсь, почему я не дошел до антихристианской ортодоксии, не сделался атеистом, леваком, иронизирующими интеллектуалом, каких сейчас много. Броде бы все задатки были налицо. Я ненавидел закрытую школу – и Британскую империю (как я ее себе представлял) в придачу. Социализм Морриса меня почти не затронул – у него было много вещей поинтереснее, но Шоу сделал из меня этакого социалистического эмбриона. Туда же вел и

Раскин. Я боялся «чувств», и это тоже подготавливало меня к тому, чтобы стать «разоблачителем». Я, правда, до смерти ненавидел коллективизм, но еще не понимал, как он связан с социализмом. Наверное, с политически ангажированными интеллектуалами меня развела романтика, да к тому же мой характер, совершенно безразличный к будущему и к повседневной жизни, мало подходит ниспровергателю.

Итак, меня интересовали только боги и герои, сад Гесперид, Ланселот, Грааль. А верил я в атомы, эволюцию и предстоящую мне военную службу. Иногда напряжение было почти невыносимым, но в конце концов это испытание пошло на пользу. Колебания в моей материалистической «вере», начавшиеся под конец в Букхеме, происходили не столько от неудовлетворенных желаний, сколько из другого источника.

Среди всех поэтов, прочитанных в то время (я прочитал целиком «Королеву фей» и «Земной рай»), один стоял особняком. Я не сразу обнаружил особенность Йейтса – только когда начал читать его прозу, «Розу алхимии» и «При дружеском молчании луны». Особенность заключалась в том, что Йейтс искренне верил, его «вечно живущие» не были ни выдумкой, ни «желанием». Он в самом деле думал, что есть мир особых существ и что для нас возможен контакт с этим миром. Он «и впрямь» верил в магию. Его стихи отчасти скрыли от публики эту веру, но она была подлинной – он сам подтвердил это, когда годы спустя я встретился с ним. Хорошенькое дельце! Мой рационализм покоился на фактах, которые я считал данными науки, а поскольку сам я не был ученым, мне приходилось полагаться на авторитет. И вот я встретил иной авторитет. Я не поверил бы свидетельству христианина, ведь с христианством я «разделался». Но вот я наткнулся на человека, который, не исповедуя традиционную религию, отвергал материалистическую философию. А я был еще вполне наивен, я верил в печатное слово. Йейтс был в моих глазах поэтом серьезным и ответственным, его словам следовало верить. Потом пришел черед Метерлинка, ведь он был в моде в то время, а мне надо было что-то читать по-французски. И снова – спиритуализм, теософия, пантеизм. Вновь вполне серьезный взрослый человек (не христианин) утверждал существование другого мира, помимо материального. Нет, я не принимал все это безусловно, но капля сомнения уже примешалась к моему материализму. Я как бы думал: «А что если (о, если бы!) все-таки есть еще «что-то», не имеющее, к счастью, никакого

отношения к христианству?» Едва я произнес это заклинание, вернулся оккультизм и то, чему учила меня любимая воспитательница в Шартре.

Я вылил масло в огонь, и пламя грозно затрещало. Жажда Радости, относившаяся к жизни воображения, та жажда, которая и была Радостью, и хищная, схожая с похотью страсть к оккультному, к сверхъестественному, слились для меня воедино. И я ощутил беспокойство, тот младенческий (а если быть честным, не только младенческий) страх, который свойствен каждому человеку. По особому закону притяжения добро в разуме стремится к добру и зло соединяется со злом. Эта смесь любопытства и отвращения притянула все дурное, что имелось во мне. Сама по себе привлекала уже мысль, что оккультные знания доступны лишь немногим, а большинство их порицает – помните: «мы, немногие» против презирающего нас мира? Магия, не признанная миром, отвергаемая и христианством, и материализмом, пробуждала во мне сочувствие мятежника. Я уже знал худшую сторону романтизма, я знал «Анакторию», и Уайльда, и Бердслея, они не привлекали меня, но и не отталкивали. Теперь я вроде бы увидел в этом смысл. Я уже говорил о соблазнах Мира и Плоти, теперь наступил черед беса. Если бы по соседству нашелся поклонник дьявола (а они хорошо чуют учеников), я стал бы сатанистом – или безумцем.

На самом деле, я был чудесно защищен, из этого зла тоже вышло благо. Я был защищен своим невежеством и неумением. Слава Богу, некому было научить меня магии, к тому же и трусость оберегала меня – детские страхи только днем подстрекали похоть и любопытство, в одиночестве ночи я предпочитал быть материалистом, но теперь мне это не всегда удавалось. Одной мысли «а что, если» самой по себе достаточно для тревоги. Но лучшей защитой было то, что я узнал природу Радости. Все поползновения разорвать оковы, сорвать покров, узнать тайны явно противоречили стремлению к ней – чем больше я поощрял их, тем сильнее в этом убеждался. Их грубая сила и похоть разоблачали сами себя. Я постепенно стал замечать, что «магия» так же чужда Радости, как и «половой инстинкт». Оказалось, что я снова утратил след. Круги, пентаграммы, тетраграммы тревожили воображение и могли быть вполне увлекательны, если б не страх, но Желание покидало меня, и то, чего я желал, отворачивалось, говоря: «Что мне до этого?»

Я ценю в опыте его честность: ошибайся сколько угодно, но не смей зажмуливаться – и ты увидишь сигнал об опасности, прежде чем зайдешь

слишком далеко. Обманывай себя сам, если хочешь, — чувства тебя не обманут. Покуда ты честно испытываешь вселенную, они тебя не подведут.

А вот еще один результат того, что я заглянул в темную комнату: теперь, когда у меня появилась новая причина верить в материализм, я все меньше в него верил. Дополнительной причиной для этой веры стали, как вы догадываетесь, те детские страхи, которые я столь безрассудно разбудил, — как все Льюисы, я не мог оставить себя в покое. Раз уж ты боишься привидений, стоит держаться материализма, который их не признает. Когда же моя материалистическая вера несколько поколебалась и появилось «а что, если», я постарался избавиться от его опасно магического привкуса и насладиться привлекательной вероятностью того, что во Вселенной, кроме уютного материализма, порой встречается еще что-то... не знаю что... «непредставимое». Это было нечестно — я пытался взять и из материализма, и из спиритуализма то, что меня устраивало, не стесняясь их ограничениями. Правда, здесь была и хорошая сторона: я невзлюбил оккультизм, и это защищало меня, когда в Оксфорде мне и впрямь пришлось столкнуться с магами, спиритами и оккультных дел мастерами. Гложущая похоть любопытства всыхивала вновь и вновь, но я уже знал, что это соблазн, — и, что важнее, я знал, что Радость не там.

Итоги этого периода можно подвести так: с тех пор, хотя Плоть и Бес могли по-прежнему искушать меня, я знал, что главный дар не в их власти. А о Мире я и раньше знал это. И тут, как высшая милость, произошло то событие, которое я уже не раз пытался описывать в других книгах. Раз в неделю я доходил пешком до следующей станции и оттуда возвращался поездом. Летом я делал это ради тамошнего бассейна — я выучился плавать в младенчестве и до седых волос, пока меня не одолел ревматизм, больше всего любил именно это занятие. Но и зимой я порой отправлялся в город, за книгами и в парикмахерскую. Однажды я возвращался оттуда вечером, в октябре. На длинном деревянном перроне были только я и носильщик. Темнело; дым паровоза внизу, возле топки, отсвечивал красным, окрестные холмы были синими, почти лиловыми, небо — зеленым от мороза. Уши щипало. Меня ожидали выходные, заполненные блаженным чтением. Подойдя к книжному киоску, я вытянул издание «Эвримена» в грязном переплете: Джордж Макдональд, «Фантастес. Волшебный роман». И тут подошел поезд. Я помню голос носильщика, выкрикавшего названия станций: «Букхем, Эффингем, Хорсли», — у них был сладкий привкус ореха. В тот вечер я начал новую книгу.

Там достаточно лесных путешествий, враждебных призраков, прекрасных и коварных дам, приманивших мое привычное воображение и не давших мне сразу обнаружить разницу. Словно во сне я был перенесен через эту границу, словно я умер в одной стране и заново родился в другой. Новая страна была так похожа на старую. Я вновь обнаружил все то, что я любил в Спенсере и Мэлори, Моррисе и Йейтсе; но все сделалось иным. Я не знал тогда имени этого нового качества, этой ясной тени, осенившей все путешествия Анодоса, но теперь я знаю, это – святость. Впервые песнь сирен зазвучала как мамина или нянина колыбельная. Казалось бы, что особенного в том, что мальчишка читает такой роман. Но словно голос с края земли окликнул меня – и теперь он приближался ко мне. Голос звучал в моей комнате, голос звучал во мне. Когда-то меня манила его отдаленность, теперь я был очарован его близостью, он был слишком близок, слишком понятен, по эту сторону понимания. Казалось, он всегда был со мной – если быстро повернуть голову, я успею его разглядеть. И только теперь я понял, что этот голос недосягаем, – чтобы уловить его, надо не что-то сделать, а ничего не делать, впустить его, отказаться от себя. Здесь были бессмысленны все усилия, какие я тратил в поисках Радости. Я не пытался смешивать саму сказку и ее свет, путать сказку и жизнь, я знал, что если б сказка стала правдой и я попал бы в те леса, где блуждал Анодос, я не приблизился бы к тому, чего желал. И ведь именно в этой сказке так трудно разделить саму историю и веющую в ней Радость! Но там, где Бог и идол стоят рядом, ошибка невозможна. Пришла великая минута, и я забыл о лесах и домах, о которых читал, чтобы отправиться на поиски бесплотного света, сияющего сквозь них, и постепенно, постепенно, словно солнце в туманный день, различил этот свет в самих домах и деревьях, в своем прошлом, в тихой комнате, где я читал, в своем старом учителе, читавшем рядом маленький томик Тацита. Воздух этой страны превратил мои эротические и оккультные замены Радости в грубый эрзац, но этот воздух сохранял хлеб на столе и уголь в камине. Это было чудо. Прежде Радость превращала обыденный мир в пустыню – соприкосновение с этим миром было губительно для нее. Даже когда обычные тучи и деревья становились частью видения, они только напоминали о другом мире, и возвращение на землю меня разочаровывало. Но вот ясная тень вышла из книги, и осенила обыденный мир, и осталась,

пребыла в нем, все изменяя, сама пребывая неизменной. Вернее, все обыденные вещи сами вошли в эту тень. Unde hoc mihi?¹ Я был неблагодарен, я был непросвещен душой, и все это дали мне без просьбы, даже без моего согласия. В ту ночь христианским стало мое воображение; на мою душу, разумеется, ушло гораздо больше времени. Я и не догадывался, на что иду, покупая «Фантастеса».

¹ «Откуда это мне?» (Лк 1:43). – *Прим. ред.*

XII. ОРУЖИЕ И ДОБРАЯ ДРУЖБА

Общество людей, которые вам по душе, благородных, молодых, деятельных; свободная беседа без притворства и некий род мужской дружбы без церемоний.

Мишель де Монтень

Все повторяется: дни в Букхеме, словно длинные и прекрасные каникулы, подходили к концу, впереди маячил вступительный экзамен, а за ним, словно мрачный учебный год в детстве, – армия. Хорошее время казалось особенно дивным в эти последние месяцы. Я помню, например, как славно купался в Донегале. Рискованное плавание на доске – не нынешние игры с серфингом, а плавание на огромных, изумрудных, грозных волнах, валы одолевают, и – лучшая из шуток, удивительнейшее из приключений – оглянувшись, увидишь у себя за спиной такой гребень, что ты никогда не решился бы идти ему навстречу, если б заметил его издали. Но волны громоздятся, высится одна над другой, внезапные и непредсказуемые, как революция.

В конце зимнего семестра 1916 года я отправился в Оксфорд готовиться к экзамену на стипендию. Те, кто проходил это испытание в мирное время, не могут даже вообразить, с каким безразличием я отнесся к нему. Конечно, я понимал, как важно для меня поступить. Я уже знал, что, кроме университета, я больше нигде не сумею работать, и поставил всю жизнь на карту в такой игре, где из сотни выигрывает один. Много лет спустя я нашел письмо, которое Керк написал тогда отцу: «Из него можно сделать писателя или ученого, больше он ни на что не годится». Я и сам это знал и порой испытывал страх. Но важность этого события заслоняло другое соображение: получу я стипендию или нет, в ближайшем году мне предстояла армия, и даже более экспансивный человек, чем я, мог бы догадаться, что будущему пехотному прапорщику надо быть не в своем уме, чтобы растрачивать нервы в раздумьях о своей послевоенной жизни, – чересчур вероятно, что этой жизни вообще не будет. Я как-то попытался объяснить это отцу, в очередной раз пробуя прервать искусственный ход наших «бесед» и рассказать ему, чем я на самом деле живу. Как всегда, я потерпел неудачу. Он напомнил о необходимости сосредоточенного труда, о немальных расходах на мое обучение и о полной невозможности помочь

мне материально, когда я кончу учиться. Бедный отец! Он и впрямь был несправедлив ко мне, если думал, что к числу моих многочисленных пороков относится недостаток усердия. Я недоумевал: неужто он считает, что эта стипендия так много значит для меня, когда речь идет о жизни и смерти? Наверное, он постоянно тревожился из-за возможной смерти – своей ли, моей, не важно – и эта мысль, источник эмоций, не могла стать для него чисто логической посылкой, разумным доводом в рассуждении. Как бы то ни было, наш разговор опять не удался, корабль разбился все о те же скалы. Отец очень хотел, чтобы я во всем доверял ему, – и никогда не мог меня выслушать. Он не мог замолчать сам и освободить свою душу, чтобы воспринять мои слова, – он внимал лишь собственным мыслям.

Моя первая встреча с Оксфордом вышла довольно смешной. Заранее о квартире я не позаботился, весь мой багаж умещался в одном чемодане, и со станции я пошел пешком искать дешевое жилье или гостиницу, ожидая увидеть «дремлющие башни». Увы, меня ждало разочарование. Я понимал, что невыгодно входить в город со стороны вокзала, это не лучшее его лицо, но по мере продвижения я все больше удивлялся. Неужто вереница дешевых магазинчиков и была Оксфордом? Я шел и шел, надеясь на встречу с Красотой за ближайшим поворотом и размышляя о том, что Оксфорд куда больше, чем я думал. Наконец, я прошел город нас kvозь. Дальше было чистое поле – я обернулся и увидел вдали шпили и башни, поистине прекраснейшее из зрелиц. Оказывается, я вышел со станции не в ту сторону и блуждал по жалкому пригороду. Тогда я и не догадывался, что эта ошибка – аллегория моего жизненного пути. И вот, я устало вернулся на станцию, понапрасну стерев ноги, нанял извозчика и попросил «отвезти меня куда-нибудь, где сдают комнаты на неделю». Как ни странно, мне повезло, и вскоре я уже пил чай в уютной гостинице. Этот дом по-прежнему стоит на углу Мансфилд-роуд и Холивелла. У меня был общий кабинет с другим абитуриентом, из Кардиффского колледжа, – он утверждал, что архитектурно этот колледж превосходит все, что есть в Оксфорде. Меня страшила его ученость, а в прочем он был приятный малый. Больше мы не встречались.

Было холодно, на следующий день пошел снег, превративший витражи в праздничные торты. Экзамен сдавали в большом зале – мы сидели и писали не снимая пальто, не снимая даже перчатку с левой руки. Ректор (старый Феллс) раздал экзаменационные листы. Я почти не помню, что я писал, но полагаю, что в специальных знаниях многие соперники превосходили

меня, а преуспел я за счет общих знаний и умения рассуждать. Мне казалось, что я написал очень плохо. Годы у Керка излечили меня от приобретенного в Виверне снобизма, и я уже не рассчитывал, что другие не знают того, что известно мне. Мы писали сочинение по какой-то цитате из Джонсона. Я знал воспоминания Босуэлла и мог вернуть цитату в родной контекст, но не думал, что это или знакомство с Шопенгауэром мне поможет. На самом деле подобное состояние разума благотворно, хотя сперва оно и пугает. Выходя из зала после экзамена, я слышал, как кто-то сказал приятелю: «Я запихал туда и Руссо с «Общественным договором»». Я перепугался – «Исповедь» я читал (вряд ли себе на пользу), но об «Общественном договоре» понятия не имел. В начале экзамена симпатичный мальчик из Харроу шепнул мне: «Кто хоть автор – Сэм или Бен?» Я был так глуп, что объяснил ему: Сэм и только Сэм, Бен Джонсон пишется иначе. Я не понимал, что сам себе врежу, раздавая информацию.

Вернувшись домой, я сказал отцу, что уверен в провале. Отец встретил это известие с великодушием и нежностью. Он не понимал юношу, который задумывался о своей вполне возможной гибели, но сердце его было раскрыто неудачливому, огорченному ребенку. Теперь он и не думал о расходах на мое образование, он только утешал и ободрял меня. Перед самым Рождеством мы получили известие, что «Уни» (Университети Колледж) предоставил мне стипендию.

Тем не менее я должен был сдать и обычные вступительные экзамены, в том числе математику. Для подготовки я вернулся еще на семестр к Керку – счастливое время, тем более ясное, что уже надвинулась тень расставания. На Пасху я благополучно завалил экзамен – как всегда, сбился в подсчетах. Все успокаивали меня и советовали «быть аккуратнее», но что толку? Чем больше я старался, тем больше наделал ошибок. Да и сейчас, если я должен аккуратно перепечатать страничку, я непременно сделаю нелепейшую ошибку в первом же слове.

Тем не менее в начале летнего (Троицына) семестра 1917 года я приступил к занятиям. Главным было тогда вступить в университетское общество подготовки офицеров, что обеспечивало лучшую карьеру в армии. Я продолжал готовиться к этому экзамену. Старый мистер Кэмпбел, оказавшийся близким знакомым друга нашей семьи Джени М., занимался со мной алгеброй (черт бы ее побрал!). Экзамен я так и не сдал – не помню, провалился я снова или просто не успел до него добраться.

После войны, слава Богу, тех, кто отслужил в армии, от него освободили, а то, наверное, я бы вылетел из Оксфорда.

Я провел в Университете меньше семестра – пришли мои документы, и меня призвали. Странный это был семестр. Половину колледжа занял госпиталь, там хождничали военные врачи. В оставшейся половине собирались горстка новичков – двое юнцов, не достигших призывающего возраста, двое белобилетников, один ирландский патриот, отказавшийся сражаться за Англию, и еще какие-то странные личности, о которых я ничего не знаю. Мы обедали в бывшей аудитории, превратившейся ныне в коридор между общей гостиной и залом. Нас было всего восемь, но мы были не так плохи: один из нас, Гордон, стал профессором литературы в Манчестере, другой, Юинг, – философом в Кембридже, был среди нас добряк и весельчак Теобальд Батлер, превращавший самые хитроумные лимерики в греческие стихи. Я наслаждался всем этим, но это было мало похоже на университетскую жизнь и, по мне, слишком неустроенно и бесполково. Затем наступила пора военной службы. Армия еще не означала разлуку с Оксфордом. Меня зачисляли в кадетский батальон, расквартированный неподалеку, в Кible.

После военной подготовки (она была в те времена гораздо проще, чем в последнюю войну) мне присвоили звание младшего лейтенанта и зачислили в Сомерсетский Полк Легкой Пехоты (прежде это был Тринадцатый Пехотный). Я попал на передовую в свой девятнадцатый день рождения (ноябрь 1917), большую часть службы провел в деревушках под Аррасом и Монжи и был ранен у горы Берненшон под Лиллем в апреле 1918. Армия вызвала у меня меньшее отвращение, чем я ожидал. Разумеется, она была ужасна, но как раз в слове «разумеется» и заключалось ее спасительное отличие от Виверна: никто не требовал, чтобы я любил ее, никто и не притворялся. Все, с кем я общался, принимали службу как тягостную повинность, прерывающую нормальное течение жизни. Гораздо легче вынести нормальные неприятности, чем те, которые преподносятся как удовольствие. Общие трудности пробуждают в нас сочувствие, иногда даже (когда испытания тяжелы) что-то вроде любви к собратьям по несчастью, но если люди вынуждены притворяться, будто им все это нравится, рождаются только взаимное недоверие, цинизм, скрытая неприязнь. К тому же «старшие» в армии были куда приятнее старших в Виверне. Конечно, мужчина тридцати лет гораздо меньше склонен обижать юнца, чем юнец – подростка, ведь взрослому человеку незачем

себя утверждать. К тому же, видимо, изменилось и мое лицо. То выражение ушло – кажется, после чтения «Фантастеса». Я вызывал теперь дружеское расположение, а то и сочувствие. В первый же день во Франции, в каком-то огромном зале, где сотня офицеров спала на нарах, меня взяли под защиту два немолодых канадца и обращались со мной не как с «сынком» – это было бы мне обидно, – а как с давним другом. Благослови их Бог! А другой раз, в офицерском клубе в Аррасе (я обедал один, наслаждаясь книгой и вином, бутылка Perrier Joue стоила тогда 12 франков) два офицера, оба намного старше меня, с наградами и нашивками за ранения, подошли к моему столу, окрестили меня «веселым Джимом» и повели пить бренди и курить сигары. Они не были пьяны и меня не спаивали, они позвали меня просто по доброте душевной. Редкость – но не исключение. Были в армии и дурные люди, но в то время мне попадались хорошие. Что ни день – встретишь студента, поэта, чудака, болтуна, весельчака, просто доброго человека.

Посреди зимы мне повезло – я подхватил «окопную лихорадку» (доктора называли ее «лихорадкой неизвестного происхождения») и целых три недели отдыхал в госпитале. Мне следовало упомянуть, что у меня с детства слабые легкие, и я давно научился радоваться легкой болезни даже в мирное время. А уж вместо окопов лежать в постели с книгой в руках – просто рай. Госпиталь расположился в гостинице, поэтому нас в палате было только двое.

Первая неделя была немного испорчена тем обстоятельством, что одна из ночных сестер крутила бешеный роман с моим соседом. У меня была слишком высокая температура, чтобы смущаться, но перешептывание утомительно и докучно, особенно ночью. Через неделю положение исправилось: влюбленного соседа куда-то перевели, и его место занял музыкант из Йорка, отъявленный женоненавистник. В первое же утро он сказал мне: «Слушай, малый, если мы сами заправим постель, эти б... не будут вечно тут торчать». Каждое утро мы сами убирали постель, а две нянечки, заглянув к нам, вознаграждали нас улыбкой, восклицая: «Какие молодцы! Сами убрали!», – кажется, они считали это особым знаком внимания с нашей стороны.

Там я впервые прочитал сборник честертоновских эссе. Я ни разу не слыхал о нем и понятия не имел, чего он хочет; до сих пор недоумеваю, как это он сразу покорил меня. Мой пессимизм, мой атеизм, мое недоверие к «чувствам», казалось бы, сулили ему полный провал. Видимо, Пророчество

(или какая-нибудь из младших «первоначин»), сводя вместе два разума, не заботится о прежних вкусах. В писателя просто влюбляешься так же невольно и неодолимо, как в женщину. Я уже был достаточно опытен, чтобы отличать такую влюбленность от согласия с автором. Я не был обязан принимать все, что говорит Честертон, чтобы получать от него радость. Его юмор как раз такой, какой я люблю, — не обычные шуточки, рассеянные по тексту, словно изюмины в пироге, и не тот легкомысленный, болтливый тон (терпеть его не могу), который встречается у многих писателей; юмор Честертона неотделим от самой сути спора, Аристотель мог бы назвать его цветением диалектики. Шпага играет в лучах солнца не потому, что боец забавляется ею, но потому она рассыпает искры, что он сражается за свою жизнь. Критиков, которым кажется, будто Честертон жонглировал парадоксами ради парадоксов, я могу в лучшем случае пожалеть; принять их точку зрения я не способен. Как ни странно, я полюбил и его доброту. Да, отваживаюсь утверждать, что уже тогда ее любил — ведь это не значит, что сам я был добр. Многие люди над ней посмеиваются, но мне это не приходило в голову. Слово «уютный» не казалось мне осуждением, я не был ни циником, ни киником, не было у меня собачьего нюха на фарисейство и ханжество. В конце концов, это дело вкуса: я подпадал под обаяние доброты, как человек может поддаться чарам женщины, на которой он и не думает жениться. Может быть, при соблюдении такой дистанции чары еще действеннее.

Я начал читать Честертона, как прежде Макдональда, не зная, что меня ждет. Если уж я хотел оставаться атеистом, надо было выбирать себе чтение поосторожнее. Атеист должен держать ухо востро. Как говорил Джордж Герберт, «Библия готовит нам тысячи уловок, засад и сетей». Бог, да позволено мне будет сказать, не слишком-то деликатен.

Даже в собственном батальоне я попал в засаду. Я познакомился с Джонсоном (мир его праху) — если б он не погиб, мы бы стали друзьями на всю жизнь. Он, как и я, получил стипендию в Оксфорде (Квинз коллеж) и надеялся вернуться туда после войны. На несколько лет старше меня, он уже командовал взводом. Он был так же силен в диалектике, как Керк, но у него были к тому же юность, юмор и поэзия. Он склонялся к теизму, мы спорили целыми днями, как только выбирались из окопов. Но дело не только в спорах — Джонсон был человеком совести. Я не встречал еще сверстника, у которого были абсолютно твердые принципы, а он — что меня особенно тревожило — принимал их как общую данность. Я впервые

подумал, что более суровые добродетели тоже должны касаться меня. Я говорю о «суровых добродетелях», потому что, конечно, имел понятие о доброте, верности друзьям, щедрости – но ведь это свойственно каждому, пока искушение не представит противоположные им пороки под новыми и соблазнительными именами. Однако я и не думал, что человек вроде нас с Джонсоном, рассуждающий об объективно прекрасном или о том, как Эсхил собирался примирить Зевса и Прометея, может стремиться к неизменной честности, целомудрию и верности долгу. Я просто не знал, что к нам они тоже относятся. Специально мы это не обсуждали, и вряд ли он заподозрил правду. Я старался не выдавать себя, и если это было лицемерием, значит, и лицемерие может пойти на пользу. Стыдиться того, что ты хотел сказать, превращать в шутку то, что сказал всерьез, не так уж достойно, но это гораздо лучше, чем вообще не стыдиться. Разница между тем, чтобы стать лучше и стараться выглядеть лучше, чем ты есть, не так отчетлива, как кажется изысканным моралистам. Я ведь не во всем притворялся – сами принципы я принял сразу, ничуть не пытаясь отстаивать свою прежнюю «безответную жизнь». Когда дикарь попадает в приличное общество, что ж ему и делать поначалу, как не подражать другим?

В общем, у нас был отличный батальон, несколько хороших кадровых офицеров руководили выслужившимися солдатами (преимущественно фермерами из западных графств) и мобилизованными адвокатами да студентами. Всегда было с кем поговорить. Лучшим из нас был, наверное, Уолли, над которым все смеялись. Он был фермер, католик, преданный делу солдат, единственный из нас, кто действительно рвался в бой. Довести его мог любой юнец – достаточно было обругать территориальное ополчение. Уолли был убежден, что «йомены» – самые отважные, надежные, сильные, честные ребята в мире. Так ему объяснил в детстве дядя, служивший в этих частях. Но он не умел говорить. Он заикался, сам себе противоречил, путался и наконец выкладывал единственный козырь: «Был бы тут дядя Бен, он бы тебе объяснил». Нам не дано судить об этом, но я убежден, что никто из погибших во Франции не имел больше шансов отправиться прямиком на небеса, чем Уолли. Мне бы следовало чистить его башмаки, а не смеяться над ним. Но, честно говоря, служить под его командованием было не так уж весело. Уолли искренне хотел убивать немцев, совсем не думая о своей безопасности или о жизни подчиненных. Он вечно был полон планов, от которых у нас волосы вставали дыбом. К

счастью, его можно было удержать, подобрав разумные доводы. Он был так простодушно храбр, что не мог заподозрить у нас иные соображения, кроме пользы дела. Добрососедские принципы окопной войны, установленные молчаливым соглашением противников, он не понимал. Меня им сразу же научил сержант, которому я велел бросить гранату в немецкий окоп, где мы заметили какое-то движение. «Так-то так, сэр, — ответил сержант, скребя в затылке. — Да ведь стоит только начать, и они тоже бросят в нас какую-нибудь штуку, верно?»

Конечно, не вся военная жизнь была хороша. Я снова встретился с суетой и с великой богиней, имя которой — Бессмыслица. Мирская суета предстала передо мной в очень странном обличье, как только я появился в окопах: войдя в убежище, я при мерцающем свете свечи узнал в капитане, принявшем мой рапорт, учителя, с которым у меня в школе были хорошие отношения. Я напомнил ему об этом. Он негромко и спешно ответил, что в самом деле был когда-то учителем, и больше к этому не возвращался. Бессмыслица была еще удивительнее — с ней я повстречался уже по пути на фронт. Военный состав отправлялся из Руана около десяти вечера — один из тех невыносимых, медленных поездов, собранных из старых, непохожих друг на друга вагонов. Я и три других офицера заняли одно купе. Отопления нет, свечи принесли с собой, для всех прочих надобностей — только окно. Нам предстояло ехать пятнадцать часов. Было зверски холодно. В туннеле возле Руана (все военное поколение помнит этот туннель) со страшным треском отвалилась дверь. До следующей остановки мы стучали зубами от холода, а на остановке явился разгневанный начальник поезда и потребовал нас к ответу за поломку вагона. Мы сказали, что дверь отвалилась сама по себе. «Вздор! — твердил он. — Она не могла сама отвалиться, тут что-то нечисто». Не иначе как четверо офицеров пустились в путь, запасшись отмычками, и по общему уговору выломали дверь в самом начале ночного путешествия в холодную зиму.

О самой войне столько писали люди, гораздо больше на ней повидавшие, что с меня хватит и нескольких слов. Пока весной немцы не начали наступление, у нас было довольно тихо. Даже и тогда они атаковали в основном канадцев, находившихся правее, нас они просто «подавляли», посыпая в наши окопы по три снаряда в минуту. Тогда я впервые увидел, как больший страх побеждает меньший: я встретил жалкую трясущуюся мышь, и она не побежала от меня, жалкого трясущегося человека. Зимой нас мучила усталость и досаждала вода. Я продолжал маршировать во сне

и просыпался, маршируя. Мы ходили по окопу в резиновых сапогах до бедра, воды было по колено, и многие еще помнят, каково это: наткнешься на колючую проволоку, прорвешь сапог, и внутрь хлынет ледяная струя. Я видел долго лежавшие трупы и только что убитых и вновь чувствовал то, что испытал в детстве, глядя на мертвое лицо мамы. Я научился жалеть и уважать простых людей, особенно моего сержанта, — его убил тот самый снаряд, которым меня ранило. Я был жалким командиром, звание давали тогда слишком легко, я был просто марионеткой, которой сержант управлял, как хотел, и это нелепое, унизительное для меня положение он сделал прекрасным, он в самом деле заменял мне отца. Но сама война — холод и ужас, вонь и распластанные снарядом люди, обрубки, все еще шевелившиеся, словно раздавленный червяк, сидящие и стоящие трупы, грязная голая земля, ботинки, которые носили и днем и ночью, пока они не прирастали к ноге, — словно померкла в моей памяти. Это слишком чуждо всему жизненному опыту — иногда мне кажется, что там был кто-то другой. В каком-то смысле это даже не важно. Один миг, дарованный мне тогда воображением, значит теперь больше, чем вся последовавшая за ним реальность. Первая пуля, которую я услышал, просвистела так далеко, что это и вправду был «свист», совсем как в газете или в стихах не видевшего войны поэта. И я почувствовал не страх и уж конечно не равнодушие — я услышал тихий голос: «Вот о чем писал Гомер».

XIII. НОВЫЙ ВЗГЛЯД

*Эту стену я возводил много тревожных месяцев
и не чувствовал себя в безопасности, пока ее не завершил.*

Даниель Дефо. «Робинзон Крузо»

В остальном моя служба в армии имеет мало отношения к излагаемой здесь истории. О том, как я «взял в плен» шестьдесят человек, то есть к величайшему своему облегчению увидел, что внезапно появившаяся передо мной толпа одетых в серую форму мужчин поднимает вверх руки, если и стоит говорить, то ради шутки. Так вот и Фальстаф пленил сэра Колвилля. И незачем читателю знать подробности о том, как английский снаряд обеспечил мне отпуск по ранению и прекрасная сестра Н. из военного госпиталя навеки воплотила мое представление об Артемиде. Только два впечатления важно упомянуть. Во-первых, тот миг, сразу после ранения, когда я перестал дышать (или мне так показалось) и подумал, что это — смерть. Я не испытывал ни страха, ни отваги и не видел для них причин; в моем мозгу звучала лишь сухая и четкая мысль: «Вот человек умирает», — столь же мало эмоциональная, как фраза из учебника. Она даже не интересовала меня, но именно из-за этого то разграничение, которое Кант проводит между феноменальным и ноуменальным Я, не показалось мне абстракцией, когда я набрел на него несколькими годами позже. Испытав это на себе, я убедился, что существует вполне сознательное Я, имеющее лишь очень отдаленные и необязательные связи со мной. Важным стало и чтение Бергсона, когда я лечился в Солсбери. С интеллектуальной точки зрения эта книга научила меня избегать ловушек, связанных со словом «ничто», но, кроме того, она кардинальным образом изменила мой эмоциональный настрой. До сих пор я предпочитал все бледное, далекое, ускользающее, акварельные миры Морриса, лиственный приют Мэлори¹, сумерки Йетса. Слово «жизнь» означало для меня примерно то же, что и для Шелли в «Торжестве жизни». Я не понимал, что такое Гете именовал «золотым древом Жизни», Бергсон объяснил мне это. Он не отнял у меня мои прежние симпатии, но подарил мне новые, у него я впервые научился ценить энергию, плодородие, настойчивость, силу, торжество и даже наглость всего, что растет. Я научился восхищаться художниками,

¹ Тогда я еще не слышал в Мэлори железа, его сокрушения и скорби.

которых почти не замечал раньше – всех этих мощных, уверенных в своей правоте, пламенных гениев – Бетховена, Тициана (с его мифологическими картинами), Гете, Данбара, Пиндара, Кристофера Рена, – и ликующими песнями псалмопевца.

В январе 1919 я был демобилизован и вернулся в Оксфорд. Прежде чем продолжить мой рассказ, я должен предупредить читателя, что один большой и сложный эпизод я полностью выпускаю. Я не вправе рассказывать о нем – достаточно сказать, что я вполне наказан за мою прежнюю неприязнь к чувствам. Даже если бы я был вправе поведать все подробности, сомневаюсь, чтобы они имели отношение к теме этой книги.

Первым другом, обретенным мной в Оксфорде на всю жизнь, стал А. К. Гамильтон Дженкин, прославившийся впоследствии книгами о Корнуолле. Он учил меня тому же, что и Артур, – видеть, слушать, вдыхать запахи, впитывать мир. Но Артур предпочитал уют, а Дженкин был способен наслаждаться всем, даже уродством. Он говорил, что надо, по мере сил, полностью отдаваться любой атмосфере, в громоздком городе отыскать самые тяжелые и угрюмые дома и увидеть, как эта угрюмость оборачивается величием, в сумрачный день забраться в сумрачный и сырой лес, в ветреный – постоять на продуваемом со всех сторон обрыве. Это не ирония, он был полон радостной решимости сунуть свой нос в самую сущность, превознося каждую вещь за то, что она такая, какая она есть.

Вторым другом стал Оуэн Барфилд. В определенном смысле Артур и Барфилд – квинтэссенция Первого и Второго Друга. Первый друг – это *alter ego*, человек, который впервые избавляет тебя от одиночества в мире, когда выясняется, что он (кто смел на это надеяться?) совпадает с тобой во всех самых тайных и личных ощущениях. Ничто не разделяет вас, вы легко сливаетесь воедино, словно две капли дождя на оконном стекле. Второй друг – совсем иное дело, он спорит с тобой во всем, он не «второе я», а полная противоположность. Разумеется, у вас есть общие интересы, иначе вы бы не сошлись, но он ко всему подходит иначе, он читал те же книги, но «не так». Он как будто говорит на том же языке – но с каким ужасным акцентом! Он так близок к тому, что кажется тебе правильным, и тем не менее он всегда, неизменно неправ. Он привлекателен как женщина и так же раздражает. Ты берешься исправлять его заблуждения, а он, оказывается, собирается исправлять твои! И вот, вы спорите – без устали, днем и ночью, сидя дома или кружка по красивому пригороду, вовсе не замечая пейзажа, чувствуя лишь мощь бьющих наотмашь доводов и порой

ощущая себя не друзьями, но полными взаимного уважения противниками. Постепенно (хотя этого не ждешь) вам удается повлиять друг на друга и из непрерывного спора вырастает общность взглядов, глубокая привязанность. Мне кажется, он изменил меня намного сильнее, чем я его. Многие мысли, которые он потом изложил в «Поэтической речи», я воспринял до того, как вышла из печати эта небольшая, но очень важная книга. Ничего удивительного; разумеется, в те годы он еще не обладал теми знаниями, которые приобрел позже, но талант его уже пробудился.

Близким другом Барфилда, а затем и моим был Харвуд, который позднее сделался столпом Майкл Холла, школы последователей Штейнера в Кидбруке. Он отличался от нас обоих, ибо не ведал потрясений. Хотя он был беден, как и большинство из нас, и не имел никаких «перспектив», он выглядел «джентльменом со средствами» из девятнадцатого века. Однажды, в конце прогулки, затянувшейся до промозглой темноты, мы обнаружили совершенную кем-то из нас (может быть, им самим) ужасную ошибку и, посмотрев на карту, поняли, что нам остается еще пять миль до Мадхема (если мы туда доберемся), где, если повезет, придет остановиться в гостинице. Харвуд и тут сохранял совершенно невозмутимое выражение лица. Не знаю, приказывали ли ему когда-нибудь «убрать» это выражение; не знаю — но не думаю. Его невозмутимость не была маской, не была и тупостью. Позже он прошел испытание и скорбью, и тревогами. Он оставался единственным Горацием в нашем гамлетовском веке — человеком, который не склоняется перед судьбой.

Должен сказать еще одну вещь об этих и прочих моих друзьях по Оксфорду. Все это были хорошие люди с точки зрения честного язычника (и тем более по сравнению с моим, достаточно низким стандартом). Иными словами, все они, как и мой друг Джонсон, жили с убеждением, что честность, гражданский долг, целомудрие и трезвость необходимы — «обязательны для всех соискателей», как говорят экзаменаторы. Я признавал их принципы и вроде бы (тут я не все помню) старался им следовать.

Первые два года в Оксфорде, помимо экзамена на степень бакалавра и подготовки к следующему испытанию, я был занят в основном тем, что можно назвать «новым взглядом». Я избавлялся от пессимизма и жалости к себе, от заигрывания со сверхъестественным, от романтических иллюзий. Одним словом, подобно героине «Нортингэрнского аббатства», я решился «судить обо всем и действовать исходя из здравого смысла». Здравый

смысл стал для меня отказом или скорее паническим бегством от всякой романтики, наполнявшей прежде мою жизнь. На то было несколько причин.

Во-первых, я познакомился со старым, оборванным, спившимся, трагическим ирландским священником, давно утратившим веру, но сохранившим приход. К тому времени, когда я его узнал, его занимала только возможность «жизни после смерти». Только об этом он читал и говорил, но никак не мог найти успокоения – мешал острый критический ум. В особенности меня шокировало, что страстная жажда личного бессмертия, по-видимому, сочеталась в нем с полным безразличием ко всему, что с точки зрения нормального человека придавало бессмертию цену. Он не стремился к блаженству, он даже не верил в Бога. Время и вечность были нужны ему не для того, чтобы очистить и усовершенствовать свою душу. Он не мечтал воссоединиться с теми, кого любил при жизни, – я ни разу не слышал, чтобы он тепло упомянул о ком бы то ни было. Хотел он только гарантии, что «он сам» продержится (все равно как) дольше, чем его телесная жизнь. Во всяком случае, так мне тогда казалось. Я был слишком молод и жесток, чтобы догадаться, что втайне этот человек жаждал счастья, которого не нашел на земле. Состояние его разума казалось мне самым постыдным, я счел, что нужно безжалостно бороться с любыми помыслами и мечтами, которые могут ввергнуть в такую манию. Мне стала противна сама идея бессмертия, я отвернулся от нее. Все помыслы, думал я, следует направить на

... тот самый мир,
То место, где находим счастье мы
Иль не находим.

Во-вторых, мне пришлось провести четырнадцать дней и почти столько же ночей в обществе человека, сходившего с ума. Он был моим другом, он заслуживал нежнейшей любви, а теперь я помогал удерживать его, когда он бился на полу и орал, что бесы рвут его на части, что он проваливается в ад. А ведь я знал, что этот человек шел непроторенными путями, он заигрывал с теософией и йогой, спиритизмом и психоанализом и мало ли еще с чем. Скорее всего это не было связано с его безумием, оно было вызвано физическим расстройством, но тогда я думал иначе. Мне все это

казалось предупреждением – к таким вот корчам на полу приведут все романтические порывы и неземные мечты.

Не обольщайся дальним, не стремись
Туда, куда мечтание влечет.

Главное – безопасность, думал я, общий путь, всем известная дорога, самая ее серединка, освещенная фонарями. Еще много месяцев после тех кошмарных недель мне казалось, что мне нужны только «банальность» и даже «вульгарность».

В-третьих, все мы увлекались новой психологией. Мы не смогли принять ее целиком (мало кто был тогда на это способен), но все мы подпали под ее влияние. Больше всего мы заинтересовались «иллюзиями» и «подавленными желаниями». Все мы были (конечно же) поэтами и критиками и потому высоко ценили «воображение» (в том смысле, какой придавал этому слову Колридж), так что нам было важно отделить его не только от фантазии, как он, но и от «иллюзий». Так что же такое все мои любимые горы и сады на западе, думал я, если не чистая иллюзия? Разве они не выдавали свою истинную природу, заманивая меня время от времени в чисто эротические мечты или насылая кошмары магии? Разумеется, как доказывают все предыдущие главы, как подтверждает мой собственный опыт, романтические образы были лишь отблеском или даже окалиной, появляющейся в огненном следе Радости; все эти горы и сады были не тем, чего я хотел, но лишь символом, который и не прикидывался ничем иным, и любая попытка превратить их самих в объект желания тут же завершалась провалом. Но теперь, просвещенный «новым взглядом», я сумел об этом забыть. Вместо того чтобы раскаяться в поклонении кумирам, я осудил ни в чем не повинные образы, которые так чтил прежде. С юношеской самоуверенностью я решил, что с этим покончено, теперь я «вижу их насквозь» (трудно больше отклониться от истины) и не попадусь на эту приманку.

Наконец, Бергсон. Каким-то образом (теперь, когда я его перечитываю, я не вполне понимаю, как мне это удалось) я вывел из, этого философа опровержение старинной, навязчивой идеи (она восходит к Шопенгауэру), будто Вселенной «могло не быть». Иными словами, на моем интеллектуальном горизонте появился один из божественных атрибутов – непременность существования. Тогда, и долгое время спустя, я

приписывал его не Богу, а космосу, но сама эта идея обладала огромной мощью. Отказавшись от нелепого предрассудка, будто реальность лишь случайно противостоит небытию, приходится отречься от пессимизма (и даже от оптимизма). Нет смысла бранить или восхвалять «Все», нет смысла хоть как-то о нем судить. Можешь восставать против него, словно Прометей или Гарди, но, поскольку ты сам – часть Целого, это значит лишь, что оно через тебя проклинает самое себя – нелепость, которая, на мой взгляд, портит эссе Рассела «Поклонение свободному человеку». Проклятия столь же нелепы и незрелы, как мечты о западных садах. Надо просто «принять» Вселенную, принять полностью, честно, без оговорок. Этот стоический монизм сделался для меня философией «нового взгляда», он вернул мне душевный покой. Впервые со времен детства я приблизился к чему-то вроде религии. На этом кончились (надеюсь, навсегда) любые попытки достичь компромисса с реальностью. Вот что дает постижение хотя бы одного божественного атрибута.

Что касается Радости, я назвал ее «эстетическим переживанием», много рассуждал о ней и считал «весома ценной». Однако теперь она возвращалась лишь изредка и не достигала прежних высот.

Первое время по обретении «нового взгляда» я был вполне счастлив, но постепенно небеса омрачились. Моя жизнь наполнилась тревогами и бедами, а Барфилд переживал

Тот юношеский год, когда душа
Невыносимо ныла, словно зуб.

Наше поколение, поколение вернувшихся с войны, понемногу исчезало, Оксфорд заполняли новые лица, молодежь снисходительно относилась к нашей отсталости и замшелости. Все ближе и суровей надвигалась проблема будущей карьеры.

И тогда случилось нечто, всерьез напугавшее меня. Сперва Харвуд (все с тем же невозмутимым выражением лица), а затем и Барфилд прониклись учением Штейнера и примкнули к антропософам. Я был потрясен, я был в ужасе: все то, от чего я так старательно избавлялся в самом себе, вновь ожило и ярко вспыхнуло в ближайших моих друзьях. Дело не только в том, что это были мои друзья, но и в том, что уж от них-то я никак не мог такого ожидать: одного ничто не могло увлечь, другой был воспитан в свободомыслящей семье и настолько защищен от всяческих «суеверий»,

что едва ли слышал о христианстве, пока не пошел в школу. Евангелие Барфилд впервые узнал, когда ему пришлось писать под диктовку притчи из Евангелия от Матфея. Эти перемены совершились в моих надежнейших друзьях в тот самый момент, когда мы особенно нуждались друг в друге. Когда же я взгляделся в учение Штейнера, я испытал не только ужас, но и отвращение, — здесь все было мерзостью, и особенно мерзко было то, что прежде привлекало меня. Здесь были боги, духи, посмертное существование и жизнь до рождения, инициации, медитации, оккультное знание. «Черт побери, это же какое-то средневековье!» — возмущался я, охваченный снобистской уверенностью в превосходстве собственного исторического периода над всеми остальными. Здесь было все, что взялась искоренить моя новая вера, все, что могло увести с торной дороги во тьму, где человек катается по полу и вопит, что попал в ад. Разумеется, все это сплошная чушь, я не собирался в нее вникать; но оказался одинок, друзья меня предали.

Естественно, я приписывал своим друзьям те же побуждения, которые могли бы привести к антропософии меня самого. Я думал, что их снедает та же духовная похоть — страсть к оккультизму. Теперь-то я вижу, что все противоречило моим подозрениям. Во-первых, они принадлежали к совершенно иному типу, а кроме того, антропософия скорее отпугнет охотников за таинственным — для этого в ней достаточно сложности и того, что я бы назвал надежной немецкой занудностью. Насколько я знаю, она никого не испортила, а одного из моих знакомых, в сущности, исправила.

Все это я говорю не потому, что я хоть на сотню миль к ней приблизился, но просто ради справедливости, а еще потому, что в свое время я наговорил моим друзьям много злых, горьких и несправедливых слов. Обращение Барфилда к антропософии стало началом нашей великой распри. Слава Богу, она не превратилась в свару — но только потому, что Барфилд никогда не позволял себе так яростно напирать на меня, как я на него. Но мы спорили, спорили и спорили, то в письмах, то лицом к лицу, и это длилось годами. Великая распрая стала одним из решающих событий моей жизни.

Барфилду так и не удалось сделать меня антропософом, но он выбрал две опоры из-под моего тогдашнего мировоззрения. Во-первых, он справился с моим «хронологическим снобизмом», я уже не мог просто принимать распространенные в наш век идеи и предвзято думать, что все

устаревшее заведомо можно отвергнуть. Теперь я понимал, что сперва надо разобраться, почему это устарело. Опровержнута эта идея (если да, то кем, когда, почему) или просто померкла, выйдя из моды? Если речь идет просто о смене пристрастий, то это не основание судить об истинности или ложности. Кроме того, я понял, что и наш собственный век – лишь определенный «период»; как и всем остальным эпохам, ему свойственны свои заблуждения, и таятся они именно в самых распространенных предрассудках, настолько распространенных, что никто не осмеливается нападать на них и не считает нужным их защищать. Кроме того, Барфилд убедил меня, что наши прежние концепции не позволяют прийти к сколько-нибудь удовлетворительной теории познания. Мы были, по современным понятиям, «реалистами», то есть безусловно признавали реальность мира, открывавшегося нам в ощущениях. Однако мы не хуже теистов и идеалистов пытались отстоять реальность некоторых явлений сознания. Мы признавали истинность абстрактной идеи, если она не противоречит законам логики, мы признавали «здравым» собственное моральное суждение, а свой эстетический опыт – не только приятным, но и «ценным». Все это обычные взгляды нашей эпохи, они ощущимы и в «Завете красоты» Бриджеса, в трудах Гилберта Мюррея, и в расселовском «Поклонении свободному человеку». Барфилд убедил меня, что это учение непоследовательно: если мысль – чисто субъективна, она не может претендовать на реальность. Если абсолютной реальностью мы признаем вселенную, явленную нам в чувствах, использующих в качестве вспомогательного орудия приборы и приводимых в единую систему «наукой», надо пойти дальше и разделить взгляды бихевиористов на логику, этику и эстетику. Но их теория была для меня невероятной. Я использую слово «невероятный» в строго буквальном смысле, а не в значении «невозможный» или «нежеланный», как многие. Мой разум оказался неспособным совершить этот интеллектуальный акт – поверить в то, во что верят бихевиористы. Я не мог придать своим мыслям такое направление, как не мог почесать ухо большим пальцем ноги или перелить вино из горлышка бутылки на дно этой же самой бутылки. Это физически невозможно. Тем самым, мне пришлось отказаться от «реализма». Я пытался отстаивать это учение с тех самых пор, как занялся философией, отчасти – из вредности; идеализм господствовал тогда в Оксфорде, а я от природы склонен «плыть против течения». Однако соответствовал он и моим эмоциональным потребностям. Мне хотелось, чтобы Природа

совершенно не зависела от нашего внимания, чтобы она была чем-то другим, безразличным и самодостаточным (и притом, как и мой друг Дженкин, я хотел, чтобы все существующее существовало в полной мере). Теперь выходило, что придется от всего этого отречься; если я не приму альтернативу, в которую я не могу верить, то я должен признать, что разум не вторичен, что вся вселенная в конечном счете духовна, что наше мышление причастно космическому Логосу.

И ведь как-то я ухитрялся отличать это мировоззрение от теизма. Видимо, то было сознательное и добровольное ослепление. Однако в те времена было полно одеял, прокладок и других уловок, с помощью которых можно получить все выгоды теизма, не принуждая себя к вере в Бога. Английские гегельянцы, Т. Грин, Брэдли и Бозанкет (великие имена той эпохи), торговали именно таким товаром. Абсолютный Дух – или, еще лучше, просто Абсолют – был безличен или же распознавал себя только в нас (не распознавая при этом нас самих?); он был настолько абсолютен, что не очень-то походил на разум. Чем больше с ним возишься, тем больше противоречий обнаруживаешь, но это опять же доказывает, что наша мысль скользит по поверхности явлений, кажимости, а реальность таится где-то в другом месте – так где же, если не в Абсолюте? Там, а не здесь «полнота сияния», скрытая за «завесой чувств». Все это, разумеется, попахивает религиозностью, но эта религиозность не много стоила: легко рассуждать о вере в нечто Высшее, не опасаясь, что Оно заинтересуется нами. Абсолют оставался «там», неподвижный, вполне безопасный. Он никогда не спустится «сюда», грубо говоря, не будет к нам лезть. Эта полурелигия была весьма односторонней: эрос (как назвал бы это чувство доктор Нигрен) возносился вверх, но «агапе» к нам не нисходила. Нам нечего было бояться и, что важнее, нечemu внимать.

А все-таки и в этой вере была кое-какая польза. Абсолют маячил где-то «там», и точка эта примиряла все противоречия, снимала все пределы, становилась скрытой славой, единственно подлинной реальностью. «Там» очень похоже на Небеса, однако эти Небеса оставались для нас недоступными, ибо мы – лишь видимости, и оказаться «там» по определению значит перестать быть собой. Все последователи этой философии, подобно добродетельным язычникам Данте, знают мечту, но не надежду; или, как Спиноза, так сильно любят своего Бога, что даже не осмеливаются желать от Него ответной любви. Я очень рад, что прошел через такой опыт; по-моему, он ближе к вере, чем многие переживания,

которые именуют христианскими. От идеалистов я узнал, что само существование Небес важнее, чем проблема – попадет ли туда кто-нибудь из нас. Я до сих пор так думаю.

Великий Ловец играл со Своей рыбкой, а я никак не замечал, что уже заглотил крючок. Я уже сделал два шага навстречу Ему: Бергсон показал мне необходимость Бытия, а благодаря идеализму я начал понемногу понимать, что означают слова: «Восхваляем Тебя за великую славу Твою». Подобную благодарность я испытывал и к норвежским божествам, но в них я не верил, а в Абсолют я верил настолько, насколько можно верить в нечто туманное.

XIV. ШАХ И МАТ

Ад стоит на словах: «Я принадлежу только себе».

Джордж Макдональд

Летом 1922 года я сдал последний экзамен. Поскольку к этому времени не открылось вакансии на философском факультете – во всяком случае такой, какую я мог бы занять, – мой долготерпеливый отец предложил мне остаться в Оксфорде еще на год и заняться английским языком, чтобы получить дополнительную специальность. Тогда и началась великая распря с Барфилдом.

Как только я поступил на английское отделение, я сразу же присоединился к дискуссионному клубу Джорджа Гордона и обрел там нового друга. Первые же слова выделили его из десятка или дюжины присутствовавших. Я сразу узнал «своего», хотя оба мы вышли из ранней юности, когда так легко и быстро заводишь друзей. Его звали Невилл Когхилл. Вскоре я с ужасом обнаружил, что он – самый умный и начитанный студент в классе – христианин и верит в «сверхъестественное». В нем были и другие черты – честь и рыцарственность, вежливость, свобода и благородство, которые, хотя и нравились мне, казались старомодными (я ведь все еще старался поспеть за современностью). Вполне можно было вообразить его на дуэли, он любил озорство, но отвергал все «низменное». Барфилд начал разрушать мой «хронологический снобизм», Когхилл добил его. Выходило, что это мы что-то утратили, что «устаревшее» и составляет культуру, а «современное» ближе к варварству. Критикам, уставшим от моих песнопений «во славу дней минувших», покажется странным, что эта мысль пришла мне в голову так поздно. Но ключ к моим книгам заключен в словах Донна: «Мы больше всего ненавидим те ереси, которым прежде следовали». Я все силы трачу на отстаивание именно той веры, которой я сам долго сопротивлялся, но к которой позднее пришел.

Не только эти качества Когхилла, но и многое другое в окружающем мире сотрясало только что принятый мной «взгляд». Все книги, которые я читал, обратились против меня. Я долго был слеп, как летучая мышь, и не замечал нелепейшего противоречия между моей философией и непосредственным опытом читателя. Джордж Макдональд повлиял на меня

больше, чем все остальные авторы; я только сожалел о его причуде, о его приверженности христианству. Честертон оказался разумнее всех моих современников вместе взятых – разумеется, если не принимать во внимание его веру. Доктор Джонсон был одним из немногих писателей, которым я мог полностью довериться; как ни странно, у него был тот же самый изъян. Удивительное совпадение – это касалось и Спенсера с Мильтоном. Даже с классическими авторами мои отношения складывались так же странно: я очевидно склонялся к самым религиозным из них, к Платону, Эсхилу, Вергилию. Мне следовало бы предпочитать тех авторов, которые не страдали религиозной манией, – Шоу и Уэлса, Милля, Гиббона, Вольтера, но в них не хватало плотности, они, как мы говорили в детстве, были «жидковаты». Нет, они мне нравились, все они были занимательны (Гибbon в особенности), но не более того. Им не хватало глубины, они были простоваты, грубость и напор бытия не пропускали в их творениях.

Когда я занялся историей английской литературы, этот парадокс стал проступать отчетливее. Меня глубоко тронуло «Видение креста», еще больше – Лэнгленд; на какое-то время меня опьянил Донн и надолго насытил Томас Браун. Особенно разбередило душу знакомство с Джорджем Гербертом. Этот писатель, казалось мне, лучше всех, кого я знал, умел передать самую сущность жизни, которой мы живем из мгновения в мгновение, но, увы, вместо того чтобы повествовать о ней напрямую, он предпочел использовать то, что я по-прежнему именовал «христианской мифологией». С другой стороны, все «предтечи современного просвещения» были, на мой вкус, разбавленным пивом, над ними я смертельно скучал. Честно говоря, Франсиса Бэкона я счел важным и претенциозным ослом; я зевал, перелистывая комедию эпохи Реставрации, и, героически перелистнув последнюю страницу «Дон Жуана», надписал на обороте: «В руки больше не возьму». Из всех нехристиан единственно привлекательными мне показались романтики, но большинство из них обладало неким религиозным чувством, подчас опасно граничившим с христианством. Словом, приходилось переиначить знаменитую строчку из «Песни о Роланде»:

Христиане не правы, но все остальные скучны.

Нормальный человек мог бы задаться вопросом, в самом ли деле христиане так заблуждаются, но мне это не подходило: я счел, что сумею объяснить их превосходство, не склоняясь перед их правотой. Как многие поклонники Абсолюта, я придерживался абсурдной теории, будто «христианский миф» приоткрывает не склонным к философии умам ту часть истины, то есть идеализма и веры в Абсолют, какую они в состоянии постичь, и именно эта крупица истины возвышает их над неверующими. Те, кто не способен подняться до веры в Абсолют, скорее приближаются к истине через «веру и Бога», нежели через неверие. Те, кто не способен постичь, каким образом мы, разумные существа, причастны свободному от времени, а тем самым – и от смерти миру, получают символический отсвет истины, уверовав в посмертное существование. Почему-то мне не казалось нелепым, что теория, в которой без особых усилий разбирался я сам и почти все первокурсники, не по зубам Платону, Данте, Хукеру и Паскалю. Надеюсь, дело не в высокомерии – просто этот вывод не приходил мне на ум.

Повествование сгущается и торопится к завершению; я выпускаю все больше и больше сюжетов, необходимых для обычной автобиографии. К истории, которую я рассказываю, не имеет отношения смерть моего отца и та отвага (и даже шутливость), которую он обнаружил во время последней своей болезни. Брат был тогда в Шанхае. Не имеет особого смысла рассказывать и о том, как я целый год читал лекции в «Уни», а в 1925 году меня приняли в колледж Магдалины. Печальней всего, что я не смогу описать многих людей, которых я полюбил и перед которыми я в большом долгу: моих наставников Дж. Стивенсона и И. Каррита; Фарка (да кто бы вообще мог его описать?) и тех пятерых великих мужей из Магдалины, которые дали мне истинное представление о жизни ученого, – П. В. Бенеке, С. С. Уэбба, Дж. Э. Смита, Ф. И. Брайтмена и С. Т. Онионза. За исключением Старика, все мои учителя (официальные и неофициальные) были прекрасны. Там, в Магдалине, я очутился в мире, где мне почти не приходилось разыскивать то, что меня интересовало, полагаясь лишь на собственные слабые силы. Всегда кто-нибудь мог подсказать правильный путь. («Вы найдете что-нибудь на этот счет у Аллануса»... «Следовало бы заглянуть в Макробия»... «Разве Комнаретти не упоминает об этом?»... А в Дю Канже вы справлялись?») Я вновь убедился, что достигшие зрелости всегда добры к юным и что самые загруженные люди всегда готовы уделить другим свое время. Я начал преподавать на английском отделении, и там

обзавелся еще двумя друзьями. Они оба были христиане (похоже, эти странные люди уже окружали меня со всех сторон), в дальнейшем они очень помогли мне преодолеть последнее препятствие. Это были Х. В. Б. Дайсон и Дж. Р. Р. Толкин. Дружба с Толкином избавила меня от еще двух старых предрассудков. С самого моего рождения меня предупреждали (не вслух, но подразумевая это как очевидность), что нельзя доверять папистам; с тех пор как я поступил на английское отделение, мне вполне ясно намекали, что нельзя доверять филологам. Толкин был и тем и другим.

Я оставил реализм, я был уже не столь уверен в своем новом мировоззрении, пошатнулся и «исторический сnobизм». Словом, я прямотаки разваливался на куски. Вскоре у меня отобрали даже иллюзию, будто инициатива принадлежит мне. Игрок на другой стороне делал последние ходы.

Первым же ударом Он уничтожил жалкие остатки «нового взгляда». Меня вдруг потянуло (без всякой видимой надобности) перечитать «Ипполита». Песнь еврипидова хора вновь представила мне ту запредельность воображения, от которой я вроде бы отделался, обратившись к новой философии. Мне понравилось это ощущение, но я не сдавался, пытаясь ввести его в определенные рамки. Но тут же я был покорен им, я испытал один момент блаженной тревоги, и – в одночасье – долгое воздержание завершилось, иссохшая пустыня осталась позади, а я вновь унесся в обетованную страну, где сердце мое ликовало и сокрушалось с той же силой, как в давние букхемские дни. Я ничего не мог с собой поделать, я не мог вернуться в пустыню. Мне вновь велели (или просто заставили меня) «убрать эту наглую ухмылку» – и навсегда.

Следующий ход, на этот раз – в интеллектуальной сфере, довершил дело. Я прочел «Пространство, время и божество» Александра, изучил его теорию «созерцания» и «наслаждения». В философии Александра это технические термины; «наслаждение» не имеет ничего общего с удовольствием, «созерцание» – с медитацией или умозрением. При виде стола вы «наслаждаетесь» зрением, а «созерцаете» стол. Если заняться работой по оптике и размышлять о природе зрения, тогда зрение станет объектом «созерцания», а размышление – источником «наслаждения». Оплакивая возлюбленную, вы «созерцаете» ее самое и ее кончину и, по терминологии Александра, «наслаждаетесь» переживанием утраты и скорби; а вот психолог, занявшийся вами, будет «созерцать» вашу скорбь и

«наслаждаться» психологией. Мы не можем «подумать мысль» в том смысле, в каком мы «думаем, что Геродот не во всем достоверен». Мы «наслаждаемся» мыслью (к примеру, о ненадежности Геродота как свидетеля) и «созерцаем» его ненадежность.

Я сразу же принял эти дефиниции и с тех пор считаю их необходимым орудием мышления. Тут же мне сделался очевиден и некий вывод, для меня – катастрофический. Мне казалось самоочевидным, что существенное свойство любви, ненависти, страха, надежды или желания – направленность на объект. Переставая думать о женщине или обращать на нее внимание, мы перестаем ее любить; переставая думать или тревожиться о том, что тебя страшит, мы утратим страх. Другими словами, «наслаждение» нашими внутренними состояниями и их «созерцание» несовместимы. Нельзя в одну и ту же минуту испытывать надежду и думать о ней, поскольку надежда обращена к некоему собственному объекту и мы, можно сказать, отвлекаем ее, обращаясь к созерцанию самой надежды. Конечно, эти интеллектуальные процессы могут чередоваться с огромной скоростью, и все же они несовместимы и отнюдь не тождественны. Это следует не только из теории Александера, но и проверяется ежедневным анализом. Легче всего можно избавиться от гнева или похоти, если переключить свое внимание с женщины или оскорблении на рассмотрение самой страсти. Вернее всего можно испортить себе удовольствие, если задуматься, насколько оно тебе удовлетворило. Но из этого следовало, что любой «взгляд внутрь себя» в определенном смысле ошибчен. Мы пытаемся заглянуть внутрь своей души и рассмотреть, что там делается. Однако что бы там ни происходило, этот процесс прекратился в тот самый момент, когда мы «обернулись», чтобы его рассмотреть. И тем хуже, что «взгляд вовнутрь» не натыкается на пустоту – он обнаруживает все то, что остается, когда прерывается обычная работа души, то есть чисто умственные образы да физические ощущения. Огромная ошибка заключается в том, что этот след, осадок или побочный продукт подменяет саму умственную деятельность. Из-за этого многие считают, что мысль – это просто еще невысказанные слова, а восприятие поэзии сводится к набору мысленных образов; на самом же деле это то, что остается, когда мысль или восприятие прерываются, рябь на поверхности моря, когда стихает ветер. Конечно, наши переживания до того, как мы их прервали, не были совсем бессознательными. Мы не можем любить, страшиться или мыслить, не отдавая себе в том отчета. Однако

вместо двойного деления на сознательное и бессознательное надо было бы ввести тройное: бессознательное, приносящее «наслаждение» и «созерцаемое».

Эта мысль заново осветила всю мою прежнюю жизнь. Я понял, что все мои усилия подстеречь Радость, все тщетные мечты обнаружить некий «контекст», который я мог бы выделить, и сказать: «Вот она» – были лишь безнадежной попыткой «созерцать» то, чем я «наслаждался». Так подкараулишь или обнаружишь лишь образ (Асгард, Сад на Западе, еще что-то в этом роде) или трепетание диафрагмы. Больше мне не было надобности гоняться за этими образами и физическими ощущениями, я знал теперь, что все они – лишь след, прочерченный Радостью, не волна, а ее влажный отпечаток на песке. Собственная диалектика Желания отчасти подготовила меня к этому выводу: ведь если я, словно фетишист, пытался выдать за Радость какой-либо из этих образов или ощущений, они сами вскоре честно признавались, что они лишь идолы. Каждый из них твердил мне: «Не я, не я. Я – лишь напоминание. Вглядись! Вглядись! О чем я тебе напоминаю?»

Так-то так, но следующий шаг страшил меня. Не было сомнения в том, что Радость – это желание, и постольку, поскольку это чувство направлено к благу, она также и любовь. Но любое желание направлено не на самое себя, а на свой объект. Половое чувство не спутаешь с потребностью в пище; более того, любовь к одной женщине отличается от любви к другой женщине точно таким же образом и точно в такой же степени, как сами эти женщины отличаются друг от друга. Даже желание выпить вина имеет свой оттенок в зависимости от того, какого вина нам захотелось. Интеллектуальная потребность (любопытство) узнать верный ответ на вопрос заметно отличается от желания убедиться в том, что один ответ ближе к истине, чем другой. Желанное придаст форму желанию. Сам объект желания делает желание грубым или нежным, примитивным или изысканным, «низменным» или «возвышенным». К своему величайшему изумлению, я понял, что заблуждался не только когда воображал, будто истинный объект моего желания – Сад Гесперид, но и тогда, когда считал, будто объект желания – Радость. Сама по себе Радость как феномен моего сознания не имела никакой цены, ценным было лишь то, по отношению к чему она была желанием. Совершенно очевидно, что объектом желания не могло быть какое-то состояние моего ума или тела. Я мог бы доказать это методом исключения; я ведь обшарил все уголки своего разума и тела,

вопрошая: «Этого ты хочешь? Или этого?» Наконец я спросил себя: «А может, я желаю Радости?» – и, наклеив на нее ярлык «эстетического переживания», решился ответить утвердительно. Но и этот ответ не выдержал сколько-нибудь длительного испытания. Радость неизменно отвечала мне: «Я – тоже желание, желание чего-то иного, вне тебя, а вовсе не стремление к какому-то состоянию твоей души». Я еще не спрашивал, к Кому я стремлюсь, я спрашивал лишь – чего я хочу? Но и этот вопрос пугал меня, ибо я понимал, что из глубинного спокойного одиночества открывается путь вне самого себя, завязываются отношения с чем-то таким, что очевидно не совпадает ни с каким-то объектом чувств, ни с чем-либо из тех вещей, в которых мы испытываем биологическую или социальную потребность, ни с объектом воображения или с каким-либо состоянием ума. Иными словами, мне открывалось нечто совершенно объективное, нечто гораздо более объективное, чем физические тела, искажаемые восприятием, – обнаженное Иное, внеобразное (хотя наше воображение предваряет его сотнями образов), неведомое, непознаваемое, желанное.

Таков был второй ход – если продолжать параллель с шахматами, можно сказать, что я потерял второго слона. Угрозу, которую таил в себе третий ход, я разглядел не сразу: попросту мое новое понимание Радости соединилось с моей идеалистической философией. Я понял, что новая концепция вполне сюда подходит: с точки зрения науки и обыденной жизни мы, смертные, – лишь «видимости», однако мы – видимость и проявление Абсолюта. В той мере, в какой мы подлинно существуем (не так уж велика эта мера), мы существуем благодаря, так сказать, укорененности в Абсолюте, единственной истинной реальности. Благодаря этому мы и испытываем Радость: мы тоскуем по тому единству, обрести которое мы можем, лишь перестав быть индивидуальным феноменом, перестав быть «собой». Радость – не иллюзия, скорее это миг прозрения, когда мы вспоминаем о своей призрачности и раздробленности и тоскуем о невозможном союзе, который уничтожит нас, о том немыслимом пробуждении, которое открыло бы нам, что мы все еще спим. С интеллектуальной точки зрения эта конструкция выглядела неплохо, она и в эмоциональном отношении вполне меня удовлетворяла, поскольку само существование Небес гораздо важнее, чем наш шанс когда-либо их достичь. И так, незаметно для себя, я миновал еще одну веху: до того все мои мысли были центробежными, теперь они устремились к центру.

Начали совпадать друг с другом суждения, относившиеся к самым разным областям моего жизненного опыта. Включив эмоциональную жизнь стремления к Радости в общую систему моей философии, я предвосхитил день, когда мне придется отнести к этой философии гораздо серьезнее. Такого я не предвидел. Я был подобен человеку, проигравшему «какую-то пешку» и даже не подозревающему, что на данной стадии игры эта уступка предвещает мат в два хода.

Четвертый ход вновь встревожил меня. Теперь я преподавал не только английскую литературу, по и философию (довольно-таки скверно). Моего расплывчатого гегельянства тут явно не хватало¹. Преподаватель должен все объяснить, но как прикажете объяснить Абсолют? Идет ли речь о том, «чего никто не может постичь», или же о некоем сверхчеловеческом разуме, а следовательно – о Личности? И вообще, не сводится ли вся заслуга Гегеля, Брэдли и прочих только к тому, что они усложнили и окутали таинственностью простой, «рабочий», теистический идеализм Беркли? Разве «Бог» Беркли не выполнял те же самые функции, что и Абсолют, с тем преимуществом, что тут мы хотя бы знали, о чем или о Ком мы говорим? Я все ближе подходил к этому выводу и, таким образом, от гегельянства возвращался к берклейанству, только одежду я ему шил по своей мерке. Я очень четко (или так мне казалось) отличал философского «Бога» от «Бога массовой религии». Я утверждал, что с Ним невозможно вступить в какие-либо личные отношения, ибо я полагал, что Он создает нас, как драматург создает своих персонажей, и что у меня не больше шансов встретиться с Ним, чем у Гамлета – лично познакомиться с Шекспиром. Я даже не называл Его Богом, я именовал Его «Духом», цепляясь за остатки душевного спокойствия.

И тут я прочел «Вечного человека», и впервые христианский взгляд на историю показался мне разумным и последовательным. Я всячески старался защититься от этого потрясения. Как вы помните, я и раньше считал Честертона самым разумным человеком на свете, «если оставить в стороне его христианство». Ну так вот, теперь у меня выходило (разумеется, словами это выразить я не мог), что и христианство весьма разумно, «если оставить в стороне христианство». Подробностей я не помню, потому что, едва я дочитал «Вечного человека», на меня обрушилась новая угроза. В начале 1926 года самый твердолобый из всех

¹ Разумеется, я отнюдь не считал, что наставник должен обращать учеников в свою веру, однако мне требовалась некая устойчивая позиция, чтобы обсуждать работы моих студентов.

моих знакомых атеистов явился ко мне, уселся возле камина и заявил, что доказательства исторической подлинности Евангелий чересчур сильны. «Чушь какая-то, – ворчал он. – Все эти “умирающие боги” у Фрэзера... Нет, просто чушь! Прямо кажется, что один раз это и в самом деле “произошло”». Чтобы понять мое потрясение, учтите, что этот человек ни раньше, ни позднее не проявлял ни малейшего интереса к христианству. Если уж этот закаленнейший скептик и циник не в безопасности, куда же мне бежать? Оставался ли у меня хоть какой-то выход?

Теперь я с изумлением понимаю, что, перед тем как Господь окончательно поймал меня, мне был предоставлен миг полной свободы. Я ехал по Хедингтон Хилл на втором этаже автобуса. Внезапно, без слов, почти без образов, некий факт предстал передо мной: я понял, что я отвергаю нечто, не желаю впустить. Можно сказать, что я был одет в какие-то жесткие одежды, вроде корсета, или даже в панцирь, словно краб, и вдруг почувствовал, что здесь и сейчас, в это мгновение, мне предоставляется свобода выбора: отворить дверь или оставить ее запертой, расстегнуть доспехи или не снимать их. Ни то ни другое не предъявлялось мне как долг, никаких угроз или обещаний этому не сопутствовало, хотя я знал, что, открыв дверь, сняв броню, я уступлю неведомому. Я должен был сделать выбор в один миг. Как ни странно, ему не сопутствовали никакие эмоции, я не испытывал ни страха, ни желания. И вот я решил – открыть дверь, расстегнуть броню, ослабить поводья. Я говорю о выборе, но в то же время я как бы не мог выбрать другую альтернативу и не понимал, почему я так поступаю. Вы можете возразить, что в таком случае я действовал не свободно, но я склонен предположить, что это был самый свободный поступок из всех совершенных мной в жизни. Быть может, необходимость не противоречит свободе и человек наиболее свободен именно тогда, когда, не перебирая мотивы и побуждения, он просто говорит: «Я – то, что я выбираю».

Затем мое чувство обрело образ. Мне показалось, что я – снеговик, который наконец-то начал таять. Я чувствовал, как таяние начинается со спины – тинь-тинь и вот уже – как-кап. Ощущение не из приятных.

Так лису выкурили из гегельянского леса, и теперь она мчалась по полю, измученная, задыхающаяся, под крики погони и лай собак. Все они оказались в одной своре – Платон, Данте, Макдональд, Герберт, Барфилд, Толкин, Дайсон и сама Радость. Все они были теперь на той стороне, даже мой ученик Гриффитс. Теперь он настоятель Беде Гриффитс, а тогда, еще

сам неверующий, он тоже принял участие в этой погоне. Однажды, когда он и Барфилд завтракали у меня в комнате, я упомянул о философии как о «предмете». «Для Платона она не была предметом, — заметил Барфилд, — она была путем». Барфилд и Гриффитс быстро обменялись понимающими взглядами, и Гриффитс негромко, но с радостной готовностью подтвердил эту мысль. Я понял, как я легкомыслен. Многое уже продумано, сказано, прочувствовано и пережито воображением. Пора что-то делать.

Разумеется, с моим идеализмом была связана (по крайней мере, теоретически) определенная этика. Я полагал, что наши смертные и не вполне реальные души обязаны умножать знание о Духе, видя мир с разных сторон, но оставаясь качественно подобными Духу, привязанными к своему времени, месту и обстоятельствам, но обладающими той же волей и разумом, что и он. Это непросто, ведь сам акт творения, в котором Дух породил души и мир, наделил их разнообразными и зачастую противоречащими друг другу интересами, а значит, есть опасность эгоизма. И все же я полагал, что каждый из нас способен отрешиться от эгоизма, порожденного его особой личностью, точно так же, как мы можем отрешиться от оптической иллюзии, порожденной нашим положением в пространстве. Предпочесть свое благо благу соседа — все равно что принять ближайший телеграфный столб за самый большой на свете. Чтобы опомниться и действовать согласно этому объективному и универсальному мировоззрению, надо было ежедневно и ежечасно напоминать себе о своей подлинной природе, вновь возноситься или возвращаться к тому Духу, которым мы все на самом деле являемся. Все так; но теперь я понимал, что не так уж легко воплотить это учение в жизнь. Говоря словами Макдональда, я стоял перед тем, что «нужно делать, и все». Я должен стремиться к совершенной добродетели.

Нелегко молодому атеисту уберечь свою веру. Опасности подстерегают его на каждом шагу. Нельзя исполнить волю Отца (и пытаться не стоит), если ты не готов вместе с ней принять само учение. Я старался привести все свои поступки, желания и помыслы в гармонию с мировым Духом. Впервые в жизни я изучал себя ради разумной практической цели. И тут я обнаружил то, что повергло меня в ужас: зверинец похоти, бедлам амбиций, детскую страхов, гарем взлелеянных ненавистей. Имя мне было — легион.

Конечно, я не мог ничего сделать — я не мог продержаться и часа, не обращаясь непрестанно к тому, что именовал «Духом». Однако

изощренные философские различия между этими обращениями и тем, что нормальные люди называют молитвой, рушатся, как только зайдешься этим всерьез. Можно беседовать об идеализме, можно верить в него, но жить им нельзя. Не мог же я по-прежнему думать об этом «Духе» как о совершенно равнодушном или глухом к моим мольбам. Даже если моя философия верна, что могу сделать я сам? Теперь я понимал, что выстроенная мной прежде аналогия кое-что подсказывает: если бы Шекспир и Гамлет могли встретиться, то произошло бы это только по воле Шекспира¹. Сам Гамлет ничего тут поделать не может. Наверное, мой Абсолютный Дух все еще отличался от Бога обычной веры, но дело было сделано: стоит искренне поверить даже в такого «Бога» или «Духа», и жизнь обновится внезапно, ужасно, потрясающе. Как сотряслись и соединились друг с другом сухие кости в страшном поле Иезекииля (37: 1-10), так и умозрительное построение, засущенное в моем мозгу, зашевелилось, приподнялось, отбросило саван, встало и обрело жизнь. Я больше не мог забавляться философскими играми. Как я уже скачал, этот «Дух» скорее всего еще не совпал с «Богом массовой религии», но Игрок на другой стороне просто отмахнулся от этого различия – и его не стало. Он не вдавался в дефиниции, Он сказал только: «Я – Господь», «Аз есмъ Сущий» – и просто: «Я есмъ».

Люди, от природы склонные к вере, не поймут того ужаса, с которым я воспринял это откровение. Дружелюбные агностики прощебечут нечто сочувственное насчет «поисков Бога». В том моем состоянии это звучало как поиски кота, предпринятые мышью. Мои чувства лучше всего передавала встреча Миме и Вотана в первом акте «Зигфрида»: «Не нужен мне ни друг, ни соглядатай, я жажду одиночества».

Как вы помните, я всегда мечтал, чтобы меня оставили в покое, «не лезли». Я хотел (ну и дурость!), чтобы моя душа «принадлежала мне самому». Я бы с готовностью отказался от любого наслаждения, лишь бы избежать боли. Сверхъестественное поначалу притягивало меня, словно запретный наркотик, а затем вызвало отвращение, похожее на похмелье. Недавние попытки жить в соответствии со своей философией на самом деле (теперь-то я это понимал) были очередной попыткой выстроить стену. Я ведь догадывался, что даже идеальное представление о добродетели

¹ То есть Шекспир, в принципе, мог бы вывести самого себя в пьесе и написать диалог между собой и Гамлетом. Этот «Шекспир» был бы, разумеется, с одной стороны – самим Шекспиром, а с другой – его созданием. (В какой-то мере похоже на Воплощение).

никогда не навлечет на меня нестерпимых мук, я вполне могу вести себя «разумно». Но теперь идеал превратился в повеление, и кто знает, к чему он меня принудит? Разумеется, по определению, Бог есть Разум. Но «разумен» ли Он в другом, более земном смысле? Никто не давал мне ни малейших гарантий. От меня требовали безусловной сдачи, прыжка во тьму. На меня надвигалась реальность, не ведающая компромисса. Никто не предлагал мне ультиматума «Все или ничего». Видимо, эту стадию я уже миновал, когда, сидя наверху автобуса, расстегнул доспехи и снеговик начал таять. Теперь от меня попросту требовали «Все».

И вот ночь за ночью я сижу у себя, в колледже Магдалины. Стоит мне хоть на миг отвлечься от работы, как я чувствую, что постепенно, неотвратимо приближается Тот, встречи с Кем я так хотел избежать. И все же то, чего я так страшился, наконец совершилось. В Троицын семестр 1929 года я сдался и признал, что Господь есть Бог, опустился на колени и произнес молитву. В ту ночь, верно, я был самым мрачным и угрюмым из всех неофитов Англии. Тогда я еще не понимал того, что теперь столь явно сияет передо мной, – не видел, как смиренен Господь, Который приемлет ново обращенного даже на таких условиях. Блудный сын хотя бы сам вернулся домой, но как воздать мне той Любви, которая отворяет двери даже тому, кого пришлось тащить силой, – я ведь брыкался, и отбивался, и оглядывался – куда бы мне удрать. Слова Compelle intrare, «принудь войти», столько раз извращали дурные люди, что нам противно их слышать; но если понять их верно, за ними открываются глубины милости Божьей. Суровость Его добре, чем наша мягкость, и, принуждая нас, Он дарует нам свободу.

XV. НАЧАЛО

*Aliud est de silvestre cacumine videre patriam pacis...
et aliud tenere viam illud ducentem.¹*

Бл. Августин, Исповедь

Читатель должен понять, что обращение, описанное мной в предыдущей главе, было обращением к теизму в его самом простом и чистом виде, а не обращением к христианству. Я тогда еще ничего не знал о Воплощении. Бог, на милость Которого я отдался, в моих глазах не имел ничего общего с человеком.

Вы можете спросить, не был ли мой ужас смягчен сознанием того, что я приближаюсь к источнику всей Радости, дарованной мне с детских лет? Ни в малейшей степени. Ведь я и не догадывался, что Бог как-то связан со стрелами Радости. Скорее для меня все было наоборот: я надеялся, что в средоточии реальности окажется какое-то «место», какой-то центр, а там оказалась Личность. У меня были все основания предполагать, что в первую очередь эта Личность потребует от меня полного и безоговорочного отказа от всего, что я называл Радостью. Когда меня втащили через порог в это сокровенное пространство, изнутри не доносилось ни единой мелодии, ни ароматов райского сада. Никаких желаний я не испытывал.

В мою веру пока еще не входило учение о бессмертии души. Теперь я считаю особой милостью, что мне было позволено несколько месяцев, если не целый год, верить в Бога и пытаться соблюдать послушание, даже не задаваясь этим вопросом. Я прошел тем же путем, что и иудеи, которым Он открыл Себя за века до того, как появилась первая мысль о какой-то иной судьбе за могилой, кроме призрачного шеола. А я и о шеоле не думал. Есть люди (многие из них гораздо лучше меня), которые сделали бессмертие души основным положением своей веры, но я не раз замечал, как изначальная озабоченность этим может полностью сбить с пути. Меня воспитали в убеждении, что добро остается добром, пока оно бескорыстно, и волю мою не должны подстегивать ни страх перед наказанием, ни надежда на награду. Если я заблуждался (позднее я убедился, что

¹ «Одно – увидеть с лесистой горы отечество мира... и другое – держать путь, ведущий гуда...» (Августин. Исповедь. VII, 21. Пер. М.Е. Сергеенко). – Прим. ред.

проблема гораздо сложнее), к моей ошибке относились с величайшей снисходительностью. Я боялся, что угрозы или посулы собьют меня с толку, но ни угроз, ни обещаний не было. Я слышал неумолимый приказ, но он не подкреплялся «санкциями». Я должен был повиноваться Богу просто потому, что Он – Господь. Давно, сперва – через обитателей Асгарда, потом – через преклонение перед Абсолютом, Он учил меня, что есть вещи, которые мы почитаем не за то, что они могут сделать для нас, а за то, что они есть. Вот почему я испытал ужас, а не удивление, когда понял, что Богу надо повиноваться только ради Него Самого. Если кто-нибудь спросит, почему мы должны повиноваться Богу, ответ будет «Аз есмъ». Знать Бога и знать, что мы обязаны Ему повиноваться, – одно и тоже. Власть над нами – в самой Его природе.

Конечно, как я уже говорил, на деле все сложнее. Первичное непременное Бытие, Создатель, обладает верховной властью не только *de jure*, но и *de facto*, Ему принадлежат не только Царство и слава, но и сила. Однако я постиг власть Бога прежде, чем ощутил Его мощь, право узнал прежде силы и благодарен за это. Мне кажется, и сейчас стоит иногда напоминать самому себе: Бог таков, что, даже если бы (допустим невозможное) сила Его исчезла, но сохранились прочие Его атрибуты, так что высшее право навеки лишилось бы высшей мощи, мы бы по-прежнему были обязаны Ему тем же почтением и повиновением. С другой стороны, если сама природа Бога обеспечивает правоту и санкцию Его приказам, мы должны понять, что единение с Его природой – блаженство, отлучение от нее – ужас и мрак. Так неизбежно возникает представление о рае и аде. Вполне вероятно, что постоянные размышления о них вне этого контекста, придающие им собственное значение, в конечном счете вульгаризируют наше представление и разворачивают нас самих.

Теперь я должен рассказать о последнем этапе этой истории, о переходе от веры вообще к христианству, но об этом я сам знаю очень мало. Может показаться странным, что из всех духовных событий моей молодости я хуже всего помню последнее, но на то есть две причины: во-первых, по мере приближения к старости мы лучше помним более отдаленные события; во-вторых, едва я обрел веру – еще «веру вообще», как я практически избавился (и давно пора, скажет читатель) от хлопотливой пристальности, с какой прежде всматривался в свое духовное развитие и различные состояния мысли. Для многих нормальных и здоровых экстравертов с обращения к вере впервые начинается самоанализ, а у меня

все вышло наоборот: копаться в себе я, разумеется, не перестал, но теперь занимался этим редко (так мне кажется, я не все помню) и с разумной целью: ради исполнения долга, самообуздания – словом, из хобби или привычки это сделалось нелегкой повинностью. С веры и молитвы начался опыт экстраверта; как говорится, я был извлечен из своей скорлупы. Даже если бы теизм не дал мне больше ничего, следовало радоваться уже тому, что он исцелил меня от глупой, поглощающей время привычки вести дневник. Даже для автобиографии дневник оказался не столь полезен, как я надеялся. Каждый день записываешь то, что показалось тебе значимым, но, конечно, внутри этого дня ты еще не можешь различить, что окажется важным в дальнейшем¹.

Как только я сделался теистом, я начал по воскресеньям ходить в приходскую церковь, а по будням – в часовню своего колледжа. Делал я это не потому, что принял христианство, и не потому, что счел ничтожным различие между этой верой и «верой вообще», – просто я счел, что надо каким-то совершенно очевидным жестом продемонстрировать свою принадлежность к определенному «лагерю». Я действовал из чувства чести (быть может, должно понятого). Сама по себе церковь меня нисколько не привлекала, я не был противником духовенства, но плохо воспринимал самое ее устройство. Само по себе существование священников, причетников и церковных старост мне нравилось, я даже любил их, как все, обладающее своим неповторимым ароматом, согласно учению Дженкина. За исключением Старика, мне вполне везло в моих отношениях со священнослужителями, особенно хороши были Адам Фокс, настоятель церкви колледжа Магдалины, и Артур Бартон (позднее архиепископ Дублинский), который был в то время настоятелем там, в моих родных местах. Кстати, он тоже когда-то мучился в заведении Старика. Упомянув о смерти Старика, я сказал ему: «Что ж, больше мы его не увидим». – «Вы хотите сказать, – с угрюмоватой улыбкой откликнулся он, – что мы на это надеемся» Но, хотя священники нравились мне, как нравились и медведи, пребывание в церкви устраивало меня не больше, чем жизнь в зоологическом саду. Прежде всего, это был коллектив, все та же

¹ Единственная польза, которую я извлек из ведения дневника, заключалась в том, что я сумел нозаслугам оценить изумительный талант Босуэлла. Я изо всех сил старался записывать беседы, в которых нередко принимали участие весьма интересные и необычные люди, однако ни один из них не ожил в моем дневнике. Очевидно, Босуэлл писал не документальный репортаж, а что-то совсем иное, чтобы изобразить Лэнгтона, Боклерка, Уилкса и всех прочих.

навязчивая зависимость друг от друга. Пока что я еще не понимал, какое отношение эта суeta имеет к духовной жизни. Мне казалось, что религия – занятие для хороших людей, которые молятся поодиночке, а затем собираются по двое или по трое, чтобы поговорить о делах духовных. А сколько хлопот, сколько зряшной потери времени! Колокола, толпы, люди с зонтиками, люди с записками, все время что-то устраивают, организовывают. Я не любил гимны (и до сих пор не люблю); из всех музыкальных инструментов мне наименее приятен орган. К тому же какая-то духовная неуклюжесть мешает мне принять участие в любом обряде.

Итак, посещение церкви было для меня чисто символическим актом. Если оно каким-либо образом способствовало моему обращению в христианство, то сам я этого не заметил. Главным моим спутником на этом пути был Гриффитс, с которым я поддерживал интенсивную переписку. Мы оба теперь верили в Бога и готовы были узнать о Нем что-то новое, все равно из какого источника, языческого или христианского. Я начал понемногу разбираться в сложном многообразии религий (Гриффитс прекрасно поведал свою историю в «Золотой струне»). Ключ мне дал тот крепкий атеист, который как-то сидел у меня и все ворчал насчет «умирающего бога». Кроме него, помог мне и Барфилд, научивший меня уважительней относиться к языческому мифу. Мне уже не требовалось просто обнаружить единственно верную религию среди тысяч заведомо ложных – надо было понять, в какой точке религия достигает зрелости, таким образом осуществлялись чаяния язычников. Атеистами я больше не интересовался, их мировоззрение можно было сбросить со счета, по сравнению с ними правы были все – все те, кто верил и поклонялся, плясал и пел, трепетал, приносил жертвы. Но ведь кроме исступленного ритуала нам еще требовались разум и совесть. Мы не могли вернуться к примитивному, лишенному морали и теологии язычеству. Я признал единого и нравственного Бога – значит, язычество было только детством религии, только пророческим сном. Когда же религия повзросла? Когда сбылся этот сон? (Здесь я мог опереться на «Вечного человека».) Мне представлялись на выбор лишь два ответа: индуизм или христианство. Любую религию можно рассматривать как приуготовление к ним – или как их вульгаризацию. Что бы мы ни находили в других верованиях, здесь мы находили то же самое, но совершеннее. Однако у индуизма было два недостатка. Во-первых, он представлялся мне не столько философским и нравственным прояснением язычества, сколько соединением философии и

прежнего, не возвысившегося язычества. Они существовали, не смешиваясь, как елей и вода, – брамин, медитирующий в лесу, и храмовая проституция в соседней деревушке, самосожжение, жестокость, изуверство. А потом, у индуизма не было тех исторических прав, что у христианства. К тому времени я был уже достаточно искушенным филологом, чтобы не воспринимать Евангелие как набор мифов. Эта Книга очень мало напоминает миф. Эти узколобые неприятные иудеи, слепые к окружавшему их богатству языческих мифов, безыскусно и достоверно рассказали как раз то, из чего создавались величайшие мифы. Если бы миф мог стать правдой, если бы божество могло воплотиться, то только так. Больше ничего подобного во всей литературе не было. Кое-какое сходство обнаруживалось в мифах, кое-что похожее – в истории, но ничего, что бы полностью совпадало с этим событием, и не было другой личности, подобной Личности, описанной в этой книге, Личности столь же подлинной и узнаваемой через все многовековое расстояние, как Сократ Платона или Джонсон Босуэлла (и гораздо более подлинной, чем Гете Эккермана и Скотт Локхарта), но в то же время столь величественной, освещенной светом иного мира, божественной. Но если эта Личность – божество, а мы уже отошли от политеизма, то это не бог вообще, а Бог. Здесь и только здесь, единственный раз в истории, миф становится истиной, Слово – плотью, Бог – человеком. Это не религия и не философия – это их вершина и свершение.

Как я уже сказал, этот переход я описываю с меньшей уверенностью, чем все то, что ему предшествовало. Вполне возможно, что в предыдущем абзаце я изложил мысли, пришедшие мне в голову позднее, но в главном я уверен, особенно вот в чем: чем ближе я подбирался к окончательному выводу, тем яснее я ощущал внутреннее сопротивление, почти столь же сильное, как прежнее мое отвращение к теизму. Сопротивление было сильным, но не долгим, потому что теперь я понимал его природу. Каждый пройденный мной шаг от Абсолюта к «Духу», от «Духа» к «Богу» был движением к более конкретному, более неотменному, более властному. С каждым шагом у меня оставалось все меньше прав на «мою собственную душу». Если я признаю Воплощение, я увязну еще глубже, окажусь к Богу еще ближе, и мне вновь казалось, что я не хочу этого. Однако стоило мне понять причины такого состояния, как я тут же осознал и тщетность его, и постыдность. Я очень хорошо помню миг, когда я прошел последний отрезок пути, хотя едва ли понимаю, как это случилось. Однажды,

солнечным утром, я отправился в зоологический парк. Вначале я еще не думал, что Иисус Христос – сын Божий; когда мы добрались до места, я твердо это знал. Я не размышлял об этом по пути и не испытывал какого-то эмоционального потрясения; эмоции вообще имеют мало отношения к самым важным событиям нашей жизни. Это было больше похоже на то, как человек после долгого сна, все еще неподвижный в кровати, замечает, что он уже проснулся. И здесь, и тогда, на втором этаже автобуса, я не берусь различить свободу и необходимость – или они, достигнув своего предела, перестают различаться? В этой высшей точке человек равен своему поступку, он полностью осуществляет себя, не оставляя «снаружи» ни одной частицы своей души. То, что мы обычно именуем волей, и то, что мы обычно называем чувствами, – так громогласно, претенциозно, недостоверно, что великая страсть или железная решимость кажутся нам хотя бы отчасти лицедейством.

С тех пор зоологический сад стал хуже, а тогда над головой пели птицы, под ногами цвели колокольчики, вокруг резвились кенгуру – это был почти рай на земле.

Но что же стало с Радостью? Ведь это ей посвящалась моя книга. По правде говоря, она почти перестала меня занимать с тех пор, как я стал христианином. Я не могу пожаловаться вместе с Уордсвортом, что сияющее видение отлетело. Прежняя мучительно-сладостная боль (если вообще стоит говорить об этом) пронзала меня столь же часто и столь же сильно, как до обращения. Но теперь я знал, что если воспринимать ее только как состояние собственного сознания, она не имеет той ценности, которую я некогда ей придавал, а существенна лишь потому, что указывает на что-то другое, запредельное. Покуда я сомневался в существовании Иного, я считал самой главной эту примету – для заблудившегося в лесу нет радостней события, чем наткнуться на столб. Тот, кто первым увидит его, созывает всех друзей – «Смотрите!» – и они обступают его со всех сторон. Но стоит выйти на дорогу, где эти столбы попадаются каждую минуту, и мы уже не обращаем на них внимания. Они ободряют нас, мы признательны тем, кто нам их оставил, но мы не остановимся, чтобы разглядеть их, а если и остановимся, то ненадолго даже на том пути, где на серебряных столбах горит золотая надпись: «Дорога в Иерусалим».

Конечно, это не значит, что я то и дело останавливаюсь, чтобы поглазеть на всякие мелочи по сторонам дороги.